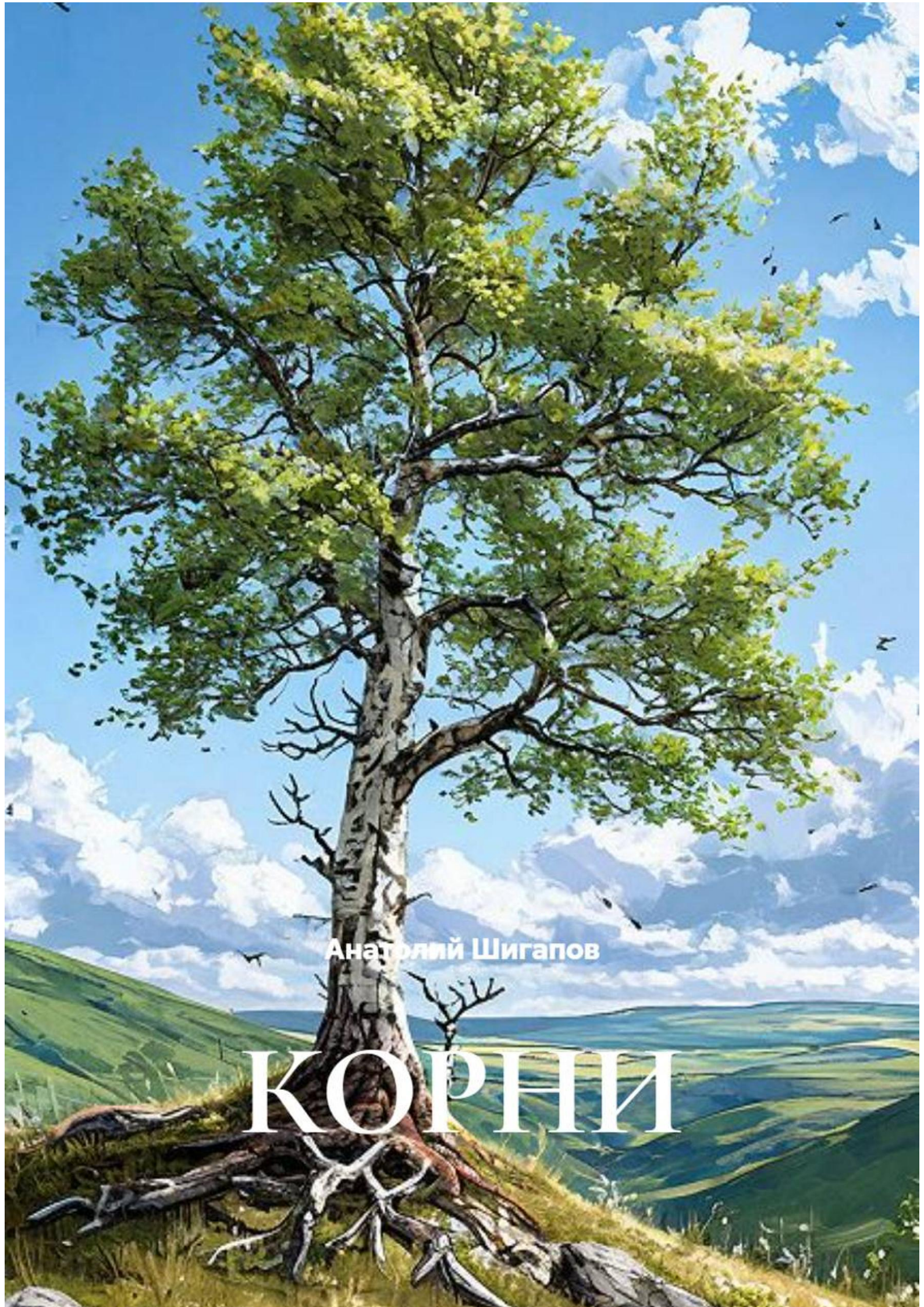


A large, detailed painting of a birch tree on a grassy hill under a blue sky with white clouds and birds. The tree is the central focus, with its trunk and roots prominently displayed. The background shows rolling green hills and a vast landscape.

Анатолий Шигапов

КОРНИ

Военные

Анатолий Шигапов

КОРНИ

«Автор»

2026

Шигапов А.

КОРНИ / А. Шигапов — «Автор», 2026 — (Военные)

ТОМ 1. «КОРНИ» (1756–1763) Осень 1755 года. Версальская интрига развязывает узел европейских противоречий. Россия вступает в войну, которая приведёт русских солдат в сердце Пруссии. Молодой казак Емельян Берёзов, оторванный от родной станицы, идёт защищать не царя и не славу - он идёт за веру, за землю, за то, что свято для его народа. Через кровь Цорндорфа и триумф Кунерсдорфа, через взятие Берлина и горечь предательства союзников он обретает понимание того, что такое настоящая вера. И когда новый царь отдаёт все победы врагу, Берёзов понимает главное: корни России не в землях, а в душе. Корни -это то, что держит дерево, когда ветры пытаются его сломать. Первый том эпопеи о роде Берёзовых, семье, пронесшей веру через века.

© Шигапов А., 2026

© Автор, 2026

Анатолий Шигапов

КОРНИ

Дорогой читатель!

Этот роман родился не в тишине кабинета и не из праздного желания сочинять исторические баталии. Он родился из глубочайшего убеждения, что русская история - это не просто смена правителей и даты сражений, но живая, дышащая вера, которая пронизывает каждое событие, каждую судьбу, каждый шаг нашего народа. Семилетняя война, казалось бы, давно изучена историками, описана в десятках трудов, но за сухими цифрами потерь и названиями городов я увидел нечто иное - увидел людей, которые шли на смерть не за царя и не за славу, а за то, что было для них святыней.

Главный герой, Емельян Берёзов, не выдуман мной. Он - собирательный образ, в котором я попытался соединить черты множества русских солдат, казаков, офицеров, которых я изучал в архивах, чьи письма читал, чьи молитвы, записанные на пожелтевших листах, старался понять сердцем. Это образ человека, для которого вера была не ритуалом, а самой жизнью - дыханием, кровью, опорой.

Но в этой истории есть и другие лица. Те, кто сбился с пути. Кто поверил врагу. Кто продал свою душу за золото, за обещания, за иллюзию лучшей жизни. Те, кто предал свою веру, свой народ, свою землю, потому что их обманули, потому что они поверили в ложь, потому что они думали, что там, за горизонтом, лучше.

Это не делает их злодеями в чистом виде. Это делает их трагическими фигурами. Заблудшими душами, которым не хватило сил или веры разглядеть правду.

В первом томе «Корни» ты встретишь их - тех, кто предал Россию в Семилетнюю войну. Граф Лесток, австрийские союзники, которые стояли в стороне, пока русские солдаты умирали под Кунерсдорфом. Они думали, что выгоднее договориться с Фридрихом, что золото решит всё, что чужая сила надёжнее своей.

Но были и те, кто прозрел. Кто понял, что ошибся. Кто вернулся - душой или телом, - потому что понял: там, где они искали лучшей жизни, они потеряли себя.

Во втором томе «Древо и Корсиканец» - те, кто поверил Наполеону. Кто думал, что он принесёт свободу, что его «просвещение» лучше, чем русская вера. Кто пошёл с ним против своего народа. И кто потом, стоя на пепелище Москвы, понял, как ошибался.

В третьем томе «Цветы и Рейхстаг» - те, кто поверил Гитлеру. Кто думал, что «новый порядок» освободит их от большевизма, что фашизм даст им лучшую жизнь. Те, кто пошёл служить врагу, кто поверил в ложь и заблудился. И те, кто потом, увидев, что такое истинное зло, вернулся к своим корням - или так и остался в своём заблуждении до конца.

Том четвёртый - «Плоды». Его пишут сейчас. Наши воины пишут его своей кровью, своей верой, своей жизнью. Он о нашем времени. О том, что созрело. О том, что мы пожинаем сегодня. Я не придумываю его - я буду ждать. А после победы я положу на бумагу всё, что они совершили. Каждый подвиг. Каждую молитву. Каждую жизнь, отданную за Россию.

Я пишу об этом не для того, чтобы осудить. Я пишу об этом, чтобы напомнить: быть русским - это выбор, который нужно делать снова и снова.

Русский - это не про тело. Русский - это про душу.

В нашей истории, в наших войнах, в наших победах участвовали люди разных кровей: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, казахи, армяне, грузины, евреи, немцы Поволжья, чуваша, мордва, якуты - сотни народов, сотни языков, сотни обычаев. И все они, когда шли в бой, шли как русские. Потому что Россия - это не этнос. Россия - это духовная общность. Это вера. Это правда. Это готовность стоять до конца за свою землю и за своих братьев, независимо от того, на каком языке ты говоришь и какого цвета у тебя глаза.

Но есть и те, кто родился в России и предал её. Кто ушёл к врагу. Кто поверил, что «там» лучше. Их было много в 1760-м. Их было много в 1812-м. Их было много в 1941-м. Их есть и сейчас. Те, кто заблудился, кто поверил врагу, кто думал, что там лучше, - они тоже были «русскими». По рождению, по культуре, по языку. Но они сделали выбор против своей земли, против своей веры, против своего народа. И они расплатились за этот выбор - кто жизнью, кто душой, кто вечной памятью о том, что они могли быть с теми, кто победил, но выбрали сторону проигравших.

Мы - русские. И это не про паспорт. Это про сердце. Это про выбор, который мы делаем каждый день.

За окном - не 1760-й, не 1813-й и не 1945-й. За окном - наше время. Время, когда те же вопросы снова встают перед людьми. Время, когда кто-то снова верит врагу. Кто-то думает, что там, на той стороне, лучше. Кто-то выбирает предательство, думая, что принесёт свободу. Кто-то заблуждается.

И я не могу написать о том, что происходит сейчас. Но все мы знаем их имена. Все мы знаем даты. Я не знаю, как назовут эту то, что происходит сейчас в учебниках истории, которые напишут через сто лет.

Но я знаю одно: Россия победит, как и всегда. Потому что она всегда побеждала. Потому что за неё - правда. Потому что за неё - вера. Потому что за неё - те, кто не предаёт.

И многие из тех, кто сейчас думает, что там лучше, прозреют. Кто-то - вовремя. Кто-то - слишком поздно. Кто-то - никогда. Но их выбор уже сделан.

А мы, как и всегда, будем стоять. Мы будем помнить, кто мы. Мы будем знать, за что мы воюем. Мы будем верить. И мы достигнем поставленной цели.

Я назвал эти три тома не случайно. В каждом из них - своё время, свой враг, свои герои, но всех их объединяет одно: вера, переданная от отца к сыну, от деда к внуку, от одного поколения к другому. И все они - независимо от того, где родились и на каком языке говорили их предки, - становятся русскими, потому что выбирают Россию.

А те, кто выбирает против России, становятся тенью. Они тоже часть нашей истории. Они тоже урок. Они тоже предостережение.

Том первый. «Корни» (1756-1763). Семилетняя война. Время, когда русский солдат впервые вошёл в Берлин, когда империя Елизаветы простирала свою руку до самой Пруссии. Это время, когда закладывался фундамент нашей идентичности. Корни - это то, что держит дерево, даже когда ветры пытаются его сломать. Это то, что остаётся, когда уходит листва. Это наша память, наша вера, наша земля. И корни эти питаются кровью и потом всех народов, которые стали русскими. И в земле рядом с ними лежат те, кто выбрал не Россию.

Том второй. «Древо и Корсиканец» (1805-1814). Наполеоновские войны. Время, когда Европа содрогалась под сапогом французского императора, а Россия стала той стеной, о которую разбилась его империя. Здесь наши герои - потомки Берёзовых - встанут плечом к плечу с Кутузовым и Багратионом, пройдут через Аустерлиц и Бородино, увидят горящую Москву и парижский триумф. Корсиканец - это Наполеон Бонапарт, человек, который считал себя властелином мира, но сломался о русскую веру и русскую зиму. Берёза - это Россия, которая не сдаётся даже тогда, когда, кажется, всё потеряно. И в этой берёзе - кровь всех народов, вставших на защиту Отечества. И рядом с ними - те, кто пошёл за Наполеоном и понял свою ошибку слишком поздно.

Том третий. «Цветы и Рейхстаг» (1939-1945). Великая Отечественная война. Самое страшное испытание, которое когда-либо выпадало на долю нашего народа. Здесь потомки Берёзовых пройдут через окопы Сталинграда, через блокадный Ленинград, через Курскую дугу - и дойдут до Берлина, чтобы водрузить Знамя Победы над Рейхстагом. Рейхстаг - не просто здание. Это символ той силы, которая хотела уничтожить нашу веру, наш народ, нашу землю. И наша берёза выстояла. Потому что за неё встали все - русские, украинцы, белорусы,

казахи, татары, армяне, грузины, евреи, узбеки, башкиры - все, кто сказал: «Я - русский». И те, кто поверил Гитлеру, тоже были - и их путь стал предостережением на все времена.

Три - это число Святой Троицы. Три ипостаси единого Бога: Отец, Сын и Дух Святой. Так и каждый том, рассказывающий о своём времени, разделён на три книги, каждая из которых отражает одну из граней духовного пути нашего героя и нашей страны.

В первом томе три книги «Корни»:

Книга первая - «Порох и интриги». Это книга о начале, о том, как замышлялась война, как плелись сети предательства и как простой человек оказывался втянут в водоворот истории. Но даже в этом пороховом дыму, даже среди придворной лжи, теплится свет веры. Это книга о том, как человек обретает свою опору.

Книга вторая - «Семилетняя кровь». Это книга о страдании, о цене, которую платит народ за свою свободу. Цорндорф, Палциг, Кунерсдорф, зимние переходы - всё это не просто названия. Это вехи на крестном пути русского солдата. Здесь вера испытывается огнём и железом. Здесь падают товарищи, и каждый павший - как свеча, которая гаснет, но освещает путь другим.

Книга третья - «Берлин-1760. Триумф и позор». Это книга о победе, которая обернулась поражением, о триумфе, который был отнят предательством. И здесь, в самый горький час, когда всё, за что ты сражался, отдаётся врагу, вера остаётся единственным, что нельзя отнять. Это книга о возвращении - не только домой, но и к самому себе, к своим корням.

Три книги - три шага на пути веры. Начало, страдание, победа духа. Так устроена жизнь христианина. Так устроена судьба России.

И здесь я должен сказать о числе, которое для многих может показаться странным: тринадцать.

Тринадцать глав в каждой книге. Итого - тридцать девять глав в каждом томе.

Тридцать девять. Это не случайное число.

Это число Калининградской области. Той самой земли, которая стала ареной описываемых событий, того края, где русские солдаты под командованием Салтыкова и Трубецкого впервые в истории взяли Берлин. Кёнигсберг, ныне Калининград, - это не просто географическая точка на карте. Это символ нашей победы, нашей славы, нашей веры. И сегодня, когда я пишу эти строки, я думаю о том, как многое изменилось, и как многое осталось тем же.

Тридцать девять - это напоминание о том, что история не уходит в прошлое. Она живёт в названиях городов, в памяти народа, в вере, которая не угасает.

Но есть и другой смысл.

Тринадцать - число апостолов вместе с Христом. Двенадцать апостолов и Сам Господь. Тринадцать - число полноты, число, в котором земное соединяется с небесным. Каждая глава - это как свидетельство одного из апостолов, как шаг по пути, который ведёт к Истине.

Три книги по тринадцать глав - это трижды тринадцать. Это полнота, умноженная на полноту. Это три Символа веры, каждый из которых раскрывается в тринадцати свидетельствах.

Я пишу этот роман, чтобы напомнить: мы - русские. И не важно, кто ты по происхождению. Важно, что в твоём сердце. Важно, за что ты готов умереть. Важно, что ты передашь своим детям.

Россия - это многонациональный народ. Но все мы - русские. Потому что русский - это не тело, - это душа. Это выбор. Это вера. Это любовь к этой земле.

И тот, кто выбирает не Россию, тот делает выбор, за который рано или поздно придётся платить. История знает много таких примеров.

Я пишу его для тех, кто ищет ответы. Для тех, кто чувствует, что за суетой дней есть что-то более важное. Для тех, кто готов услышать голос своих предков, который звучит в шёпоте берёзовых листьев.

Я пишу его для себя - чтобы не забыть, кто я и откуда я.

И для тебя, читатель. Чтобы ты тоже помнил.
Берёзовы всегда возвращаются. Всегда. Даже когда кажется, что они ушли навсегда.
А те, кто выбрал другую сторону, - они тоже часть нашей истории. Как предостережение.
Как урок. Как напоминание о том, что правда всегда побеждает, а ложь остаётся ни с чем.
Мы - русские. Это навсегда.
С Богом,
Анатолий Шигапов

ТОМ ПЕРВЫЙ. «КОРНИ» (1756-1763)
КНИГА 1. «ПОРОХ И ИНТРИГИ»

Глава 1. Версальское оскорбление

Осень тысяча семьсот пятьдесят пятого года стояла в Версале холодная, сырая и неуютная, - такая осень, когда солнце, казалось, навсегда покинуло эти края, уступив место бесконечным дождям и свинцовому небу, которое низко нависало над королевским дворцом, давя своей тяжестью на мраморные статуи в саду, на свинцовые крыши, на души обитателей этого пышного и вместе с тем тоскливого места, где каждый камень был пропитан интригами, каждое зеркало хранило чьи-то тайны, а каждый шёпот, казалось, рождал новую ложь. Ветер с Атлантики приносил солёный запах моря, смешанный с гнилью опавших листьев, и этот ветер, неистовый и холодный, бил в высокие окна дворца, заставляя стёкла дрожать и издавать тот тонкий, жалобный звук, от которого у нервных натур начинали ныть зубы и сжималось сердце.

В будуаре маркизы де Помпадур, этой удивительной женщины, чья судьба была столь же блистательна, сколь и трагична, было душно, но не от той здоровой, животворящей теплоты, что бывает в деревенской избе, когда печь натоплена докрасна, а от той тяжелой, болезненной духоты, которая всегда сопутствует излишней роскоши: камин горел слишком жарко, плотные шёлковые шторы, расшитые серебряными лилиями, не пропускали ни единого луча бледного света, а воздух был пропитан смесью французских духов - сандалом, мускусом и амброй, - которые смешивались с запахом старого воска от свечей и образовывали ту удушливую атмосферу, в которой трудно было дышать и ещё труднее думать.

Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, дама, которая из скромного положения мещанки сумела подняться до высот, каких не достигала ни одна фаворитка французского короля, сидела перед трюмо в старинной раме, украшенной вызолоченными амурами. Она была одета в шёлковый пеньюар цвета увядшей розы - тот самый пеньюар, который Людовик особенно любил, ибо этот бледный, траурный оттенок шёл к её матовой коже и подчёркивал ту меланхолию в её глазах, которая так трогала его величество и заставляла его прощать ей многие её слабости и проступки. Её тонкие пальцы, униженные перстнями с крупными бриллиантами - один из них, сапфировый, подарок короля за удачно проведенные переговоры с папским нунцием, - сжимали плотный, пахнущий сургучом лист бумаги. Только что, с тайным и почтительным поклоном, её камердинер, старый, преданный Жан-Батист, принёс это письмо, сказав, что его доставил человек, не пожелавший назвать своего имени, человек в сером плаще, который исчез в саду, как только передал конверт.

И теперь маркиза, оставшись одна, не могла оторвать взгляда от ровных строк, выведенных тем характерным, бисерным, чересчур аккуратным почерком, который она узнала бы из тысячи, - почерком Фридриха II, короля Прусского, этого странного, гениального и злого человека, который был для неё, в её интимном мире, чем-то вроде демона-искусителя и одновременно смертельного врага, ибо он ненавидел её той спокойной, холодной, всеобъемлющей ненавистью, которую испытывают люди, считающие себя выше тех, кого они презирают.

Она знала, что Фридрих не переносит её. Для него, для этого философа на троне, для этого аскета и воина, писавшего стихи на французском и игравшего на флейте, Жанна была

воплощением всего самого гнилого и развращённого, что, по его мнению, породил век Людовика XV: женское влияние, продажность, расточительность, интриги, когда судьбы государств решаются в будуарах и спальнях. Он часто, в своих письмах к Вольтеру, называл её не иначе как «госпожой Пуассон», подчёркивая с жестокостью, которая была свойственна его натуре, её плебейское происхождение, напоминая всем, что эта женщина, правящая Францией, была когда-то просто дочерью откупщика, которую, по слухам, в ранней юности готовили к участи содержанки богатых буржуа.

Но то, что она прочитала сейчас, в этом письме, было хуже обычных насмешек, к которым она уже привыкла за долгие годы своего фавора. Это была угроза, но угроза не пустая, не та, что произносится в порыве гнева и забывается на следующий день, а угроза, подкреплённая точными сведениями, собранными его шпионами, которые, как она знала, были везде: в Сен-Жерменском предместье, в министерствах, даже у её собственных братьев, которым она доверяла, но которые, как теперь выяснялось, были слишком болтливы за картами и вином.

«Маркиза, - писал король Пруссии своим сухим, чеканным слогом, который так напоминал его военные приказы, - вы прославились тем, что торгуете влиянием, как базарная торговка - репой, но ваши финансовые махинации выходят далеко за пределы спальни короля. Суммы, переведённые вами в Амстердам через подставных купцов, известны мне с точностью до последнего талера. Если ваш августейший любовник узнает, что вы финансируете свои авантюры за счёт государственной казны, вы потеряете не только его расположение, но и голову, ибо законы Франции, как бы снисходительны они ни были к капризам королевских фаворитов, всё же карают за казнокрадство».

Она перечитала столбик цифр, который следовал ниже. Это были суммы - месячные переводы, которые она действительно отправляла в Голландию, но не для себя, не для того, чтобы покупать бриллианты или загородные замки, а для того, чтобы обеспечить себе будущее, если, что было вполне вероятно в этом изменчивом мире, Людовик когда-нибудь охладит к ней и прогонит её, как прогонял всех своих фавориток до неё. Она отправляла деньги своим братьям, Абелью и Мариньи, для тайных сделок, для того чтобы они могли вести свои дела за границей; она вкладывала деньги в испанские векселя, в голландские облигации, в те предприятия, которые должны были дать ей возможность не просить милостыню у того жестокого мира, который так любил низвергать своих кумиров. Но теперь, когда эти цифры стояли перед ней, выведенные чужим, враждебным почерком, они казались ей не просто доказательствами её благоразумия - они казались ей смертным приговором, вынесенным ей этим далёким и опасным человеком.

Пальцы маркизы дрогнули. Она почувствовала ту ледяную волну, которая всегда подступала к сердцу в минуты сильного страха, тот страх, который не похож на животный испуг, а есть страх оскорблённого самолюбия, страх унижения, который для такой женщины, как она, был страшнее физической смерти. Она поднесла письмо к пламени свечи, глядя на то, как языки огня лижут сургучную печать с прусским орлом, но в последний момент отдернула руку, словно обожглась, хотя огонь ещё не коснулся её пальцев.

Нет, она не могла уничтожить это письмо, ибо в уничтожении улики была слабость, а она, Жанна-Антуанетта, никогда не показывала слабости, даже когда у неё внутри всё переворачивалось от страха. Письмо было уликой, но оно же было и оружием, ибо, пока оно у неё, она знает, что знает её враг, и это знание, пусть и страшное, давало ей возможность ответить, давало ей шанс защититься от того, кто считал себя всемогущим.

Она поднялась с кресла, подошла к окну, раздвинула на мгновение тяжёлую портьеру и выглянула в сад, где дождь уже превратил аллеи в сплошное месиво из грязи и опавшей листвы, где мраморные статуи стояли, покрытые мокрым инаем, и казались призраками из другого мира. Ветер ударил в стекло, и она вздрогнула, но не от холода, а от той внезапной мысли, которая пришла ей в голову: Фридрих не просто хотел её уничтожить - он хотел показать, что

знает о ней всё, что держит её на коротком поводке, что она, всемогущая маркиза, - всего лишь пешка в его большой игре, которую он ведёт против Франции.

- Он просчитался, - прошептала она, глядя на своё отражение в тёмном стекле, на своё бледное, красивое лицо с большими глазами, которые сейчас казались почти чёрными от расширенных зрачков. - Никто, - сказала она, уже громче, с той внезапной решимостью, которая всегда появлялась у неё в минуты опасности, - никто не смеет угрожать мне, даже король Пруссии. Если он хочет войны, он её получит. Но сначала он узнает, что значит оскорбить французскую фаворитку, которая держит в своих руках не только сердце короля, но и его политику.

Она оправила кружево у горла, поправила складки своего пеньюара, провела ладонью по гладко причёсанным волосам и вышла из будуара, пройдя по анфиладе комнат, где слуги, видевшие её уже много лет, почтительно кланялись, но в глазах их она читала ту же холодную, оценивающую любопытство, которое всегда окружало её, словно она была не женщиной, а диковинным зверем. Она остановилась у дверей королевского кабинета, прислушалась. Там, за дверью, раздавались голоса: Людовик, как обычно, играл в пикет с герцогом Ришельё, старым лисом, который был другом её юности и, как она подозревала, одним из тех, кто втайне желал её падения.

Она вошла без стука, как имела право входить только она одна, и увидела короля, сидящего за столом, заваленным картами и пустыми чашками из-под кофе. Людовик был одет в простой охотничий камзол тёмно-синего цвета, на его лице была заметна та усталость, которая всегда появлялась у него после бессонных ночей, но он всё ещё улыбался, слушая Ришельё, который рассказывал какую-то скабрёзную историю о своих похождениях при венском дворе, где он, по его словам, обольстил жену самого австрийского канцлера. Свечи нагорели, и в комнате пахло табаком, французскими духами и тем особым запахом старого, прокуренного кабинета, где много лет вершилась судьба Франции, но вершилась она медленно, вяло, без той страсти и энергии, которые требовались от правителя в эту грозную эпоху.

- Моя дорогая, - начал Людовик, увидев её, и лицо его осветилось той тёплой, немного детской улыбкой, которую она так любила и которая всегда давала ей силу, - ты вовремя, я как раз выигрываю партию. Ришельё проиграл мне уже тысячу ливров и хочет отыграться. Сядь с нами, выпей кофе, ты бледна. Что-то случилось?

Маркиза подошла к королю, положила свою тонкую руку на его плечо, чувствуя под пальцами тепло его тела и ту слабую дрожь, которую он никогда не мог скрыть, когда она касалась его. Ришельё, заметив её серьёзное лицо, замолчал, отложил карты и с любопытством уставился на неё, но она не обращала на него внимания.

- Ваше Величество, - сказала она, наклоняясь к самому его уху так, чтобы её голос был слышен только ему одному, и в этом голосе была та стальная, твёрдая нота, которая появлялась у неё всегда, когда она решалась на что-то важное, - позвольте мне сказать вам то, что вы должны знать, даже если вам это будет неприятно. Пруссия смеётся над вами. Фридрих, этот выскочка, этот флейтист, называет вас слабым монархом, которым правят юбки. Он считает, что Франция - это дешёвка, которую можно купить за золото, и я имею тому доказательства.

Король нахмурился. Его рука, державшая карты, замерла, он отложил их в сторону и повернулся к ней всем корпусом, и в его глазах мелькнула та оскорблённая гордость, которую он так старательно прятал за маской апатии и равнодушия. Он не любил, когда его называли слабым, он ненавидел, когда кто-то ставил под сомнение его власть, особенно сейчас, когда его авторитет во Франции и без того был подорван бесконечными интригами парламентов и недовольством народа. Но больше всего он ненавидел, когда кто-то, даже король Пруссии, смеялся над ним в его же собственном дворце, через его же собственных министров.

- Какие доказательства у тебя есть, Жанна? - спросил он, и голос его был сух и холоден, как никогда. - Если это очередная сплетня от твоих же подруг, я не хочу этого слушать.

Маркиза выдержала паузу, давая словам осесть в голове короля, давая им возможность прорасти теми ядовитыми ростками сомнения, которые она так умело сеяла в его душе уже много лет.

- Письма, Ваше Величество, - сказала она, хотя письмо Фридриха лежало у неё за пазухой, но она не стала его показывать, ибо показывать его означало признать, что она вела тайные финансовые операции, а она была слишком умна для такой ошибки. - У меня есть письма, которые перехватила моя тайная полиция. Фридрих не только оскорбляет вас, он вербует ваших министров, он платит вашим врагам, и если вы не дадите ему отпор, если вы не объявите ему войну, завтра эти письма прочтает весь Париж, и тогда каждый будет знать, что французский король позволил прусскому выскочке насмеяться над собой, что Франция - всего лишь посмешище для всей Европы.

Она говорила, и её голос становился всё тише, но в этой тишине была сила, которая действовала на Людовика сильнее самых громких приказов. Она знала, как на него давить, ибо знала его слабости: он боялся позора больше, чем войны, больше, чем любых потерь, ибо позор был для него смертью его королевского достоинства, его образа, который он так тщательно создавал.

Король побледнел. Она увидела, как побелели его пальцы, лежавшие на столе, увидела, как он начал нервно перебирать карты, не глядя на них. В его голове закрутились те же мысли, которые она так умело вкладывала в неё: что его враги уже смеются над ним, что все его министры, все его придворные, вся Европа знают, что король Франции слаб, что его держат за юбку женщины, которую он когда-то подобрал на балу, и что Фридрих, этот ненавистный прусский урод, смотрит на него сверху вниз, как смотрят на нашкодившего лакея.

- Что ты предлагаешь? - спросил он, наконец, и в его голосе была та же растерянность, которую она так хорошо знала и которая была ей так нужна.

Маркиза приблизилась к нему совсем близко, так что он чувствовал запах её духов, ту теплоту её тела, которая всегда действовала на него усыпляюще.

- Я хочу защитить вас, Ваше Величество, - прошептала она, почти касаясь губами его уха. - Объявите войну Пруссии, и вы покажете Европе, что Франция - это сила, а не марионетка. Я лично прослежу, чтобы все улики против вас исчезли, я сделаю всё, чтобы ваше имя было восстановлено. Мы заключим союз с Австрией, с Россией, мы окружим Фридриха со всех сторон, и он будет раздавлен, и он будет умолять вас о пощаде, и тогда все увидят, что вы - король, настоящий король, которого боится вся Европа.

Она говорила, и в её голосе была та страсть, которую она редко показывала, но которая всегда убеждала его. Людовик колебался ещё несколько мгновений, потом, словно приняв решение, которое он принял бы и без неё, но которое теперь казалось ему его собственным, он кивнул. Он был слаб, и она это знала, и она пользовалась этой слабостью, как пользовались ею и другие, но она делала это искусно, любяще, так что он никогда не чувствовал себя обманутым.

Через час французский посол в Вене уже получал курьерскую депешу, в которой было сказано: «Его Величество король Франции, его величество император Священной Римской империи и её величество императрица Всероссийская вступают в оборонительный и наступательный союз против короля Пруссии Фридриха II. Срочно приступить к подготовке военных действий».

Маркиза вернулась в свой будуар, заперла дверь и, наконец, вынула письмо Фридриха из-за пазухи. Она подошла к камину, где дрова уже превратились в красный, горячий жар, и бросила письмо в самое пламя. Бумага вспыхнула мгновенно, и Фридрих, со всеми его оскорблениями, со всеми его угрозами, превратился в пепел, который смешался с золой и дымом. Жанна стояла у камина, глядя на тающий воск, и улыбалась, но это была улыбка женщины, которая выиграла битву, но знала, что война только начинается.

Вена, столица империи Габсбургов, была городом, который всегда казался Марии Терезии её вторым домом - домом, который она любила и ненавидела одновременно, ибо в каждом его камне были воспоминания о её отце, о её детстве и о том, как она, молодая и неопытная, была вынуждена взвалить на свои плечи тяжесть управления этой огромной, раздробленной империей, в которой каждый князь, каждый граф, каждый епископ считал себя вправе иметь собственное мнение и собственные войска. Дунай, тёмный, холодный, шумный, катил свои воды за окнами императорского дворца, принося запахи рыбы, речной травы, мокрого камня и той тихой, размеренной жизни старого города, которая так противоречила кипевшим в этих стенах страстям.

Императрица стояла у огромной настенной карты Силезии, той карты, которую она приказала повесить в своём личном кабинете много лет назад, сразу после того, как Фридрих, вероломно, без объявления войны, вторгся в эту благодатную провинцию, и с тех пор она ежедневно, иногда несколько раз в день, подходила к ней и касалась пальцами линии, где когда-то проходила граница её отцовских владений, и каждый раз это прикосновение было для неё как прикосновение к незаживающей ране.

Мария Терезия была величественной женщиной, уже не молодой, но всё ещё сохранившей ту особую, царственную красоту, которая не зависит от возраста, - с правильными чертами лица, с лёгким, здоровым румянцем, который говорил о её крепком сложении, и с большими, ясными глазами, в которых светилась та пронизательная, твёрдая воля, которая помогала ей управлять огромной империей в том мужском мире, где женщина, особенно женщина-правительница, всегда считалась слабой и неспособной к серьёзным решениям. Она была одета в тяжёлое платье из чёрного бархата, с кружевным воротником, украшенным жемчугом, который был ей дорог как память о покойной матери, и на её пальце блестело кольцо с большим сапфиром, которое, по преданию, принадлежало ещё императору Карлу V.

Она вспоминала тот день, когда Фридрих Прусский, этот рыжий, сутулый молодой человек с холодными глазами, не объявив войны, вторгся в Силезию. Ей было тогда тридцать лет, она только взошла на престол, беременная, ослабленная родами, и вся Европа смотрела на неё как на слабую, неопытную женщину, которую легко обмануть и легко раздавить. Фридрих, тогда ещё молодой и дерзкий, написал ей письмо, полное оскорбительных намёков, и назвал её «неопытной девчонкой», которая не способна править такой империей, и она, Мария Терезия, дочь императора, внучка императора, никогда не забывала этого оскорбления. Она показала ему, что такое настоящая политика, когда в течение нескольких лет, используя дипломатию, интриги, деньги и, наконец, оружие, она сумела не только сохранить свою корону, но и превратить Австрию в одну из ведущих держав Европы. Но Силезия была потеряна - это был позор, который она не могла простить ни себе, ни ему, ни своей империи, и с тех пор она жила одним желанием: вернуть то, что было украдено, отомстить за то унижение, которое она пережила, глядя на карту, где когда-то были её земли, а теперь земли врага.

- Ваше Величество, - сказал ей Кауниц, который тихо вошёл в комнату, неся под мышкой тяжёлую папку с бумагами, перевязанными тесёмками, - письмо готово. Я всё проверил, всё перечитал. Прошу вас подписать.

Мария Терезия оторвалась от карты, медленно, словно с сожалением, и подошла к столу, где лежал пергамент, пахнувший свежим воском и чернилами. Она взяла перо, гусиное, с острым концом, обмакнула его в чернильницу из тёмного стекла, но прежде чем поставить подпись, она перечитала текст, который, по её приказу, был написан её собственноручно, ибо она не доверяла канцеляристам, считая, что только она может выразить ту смесь гнева и смирения, которая была нужна для этого документа.

«Мы, австрийцы, наученные горьким опытом войны и предательства, - писала она, и каждое слово давалось ей с трудом, ибо она не привыкла унижаться даже перед союзниками, - знаем, что Фридрих Прусский - это не просто враг, это хищник, который пожирает земли и

права, это человек, который не знает ни чести, ни закона, ни веры. Но без вашей мощной армии, без вашего мужества, без вашей преданности общему делу, боюсь, мы не сможем сломить его спесь и вернуть то, что принадлежит нам по праву. Россия - наша надежда. Вместе мы покажем Европе, что такое сила правды, и вместе мы сокрушим того, кто посмел бросить вызов всем христианским державам».

Она усмехнулась, но усмешка эта была горькой, и поправила кружево на рукаве, которое немного съехало, когда она наклонилась над столом. Её рука была тверда, когда она поставила размашистую, уверенную подпись, ту самую подпись, которой она подписывала все важнейшие документы своей жизни: мирные договоры, союзные трактаты, указы о наборе солдат, письма к Папе Римскому. Пусть русские, эти восточные варвары, чувствуют себя обязанными, пусть они думают, что Австрия нуждается в них, как в спасителях. Для неё они были просто пушечным мясом, тем пушечным мясом, которое должно было защитить её земли и вернуть ей то, что принадлежало ей по праву её предков.

Она отложила перо и сказала, уже обращаясь к Кауницу, но глядя в окно, где Дунай катил свои тёмные воды:

- Я приказала нашему послу в Петербурге настаивать на немедленном вступлении России в войну. У нас есть свои планы, и я не собираюсь делить с кем-то свою победу. Я верю, что Бог, настоящий Бог, католическая церковь, - на нашей стороне, и он поможет нам покарать этого еретика и безбожника.

Кауниц внимательно посмотрел на неё, поправил очки на своём длинном, тонком носу, и сказал, с той осторожностью, с которой он всегда говорил с ней, зная её вспыльчивый нрав:

- Но Ваше Величество, есть сведения, которые я должен вам сообщить, хотя они могут вам не понравиться. Наши шпионы доносят, что русские идут на войну не ради нас и не ради восстановления справедливости. Они говорят о своей вере, о защите православия, о том, что они защищают единоверных славян от прусского ига. Они считают, что воюют за свою религию.

Мария Терезия резко обернулась и взглянула на него с тем холодным, ледяным высокомерием, которое она так умело использовала, когда хотела показать своё превосходство над собеседником:

- Пусть защищают свою веру, - сказала она, и в голосе её была та же холодная, расчётливая жестокость, которую она обычно приберегала для своих врагов. - Нам важно, чтобы они воевали, чтобы они умирали за наши интересы, чтобы их солдаты, эти мужики в овчинных тулупах, сжигали прусские города и деревни. Моя вера, католицизм, - истинная, а их православие - схизма, заблуждение, которое когда-нибудь будет исправлено. Но если их «схизма» поможет мне вернуть Силезию, я готова терпеть их иконы и молитвы, пока они воюют, мне всё равно, во что они верят.

Она бросила письмо на стол, и бумага, лёгкая, тонкая, скользнула по дубовой поверхности, подчиняясь её властному жесту. Кауниц молчал, не смея возражать, но в его голове уже роились другие мысли, и он думал о том, что Мария Терезия, несмотря на весь свой ум и волю, часто бывает слишком самонадеянна, и что её религиозные предрассудки могут стоить ей многого.

Мария Терезия подошла к окну, отодвинула тяжёлую портьеру, пропуская в комнату серый, холодный свет венского дня. Дунай катил свои воды - мутные, свинцовые, с какими-то обломками и ветками, принесёнными дождями. Она смотрела на эту реку, которая была свидетельницей столько битв и столько договоров, и думала о том, что скоро эти воды, может быть, покраснеют от крови, и что она, императрица Мария Терезия, должна будет нести ответственность за каждую каплю этой крови перед Богом, перед империей и перед своей собственной совестью.

Петербург, Зимний дворец. За окнами кружила снежная крупа, и ветер с Финского залива выл в трубах так жалобно и пронзительно, что в комнате, даже при зажжённых ками-

нах, было неуютно и холодно. Свечи в тяжёлых, серебряных подсвечниках горели неровно, бросая на высокие, лепные потолки причудливые тени, которые казались призраками из другого, более тёмного мира. Алексей Петрович Бестужев, канцлер Российской империи, человек, который уже много лет правил внешней политикой России, сидел в глубоком, обитом зелёным бархатом кресле, накрыв ноги тёплым пледом, хотя в камине горел огонь, и читал письмо Марии Терезии, которое только что было доставлено с нарочным из Вены.

Бестужев был стар, и его лицо, изрезанное глубокими морщинами, носило следы многих бессонных ночей, многих интриг, многих успехов и многих поражений. Его глаза, маленькие, пронизательные, под густыми седыми бровями, блестели с той усталой хитростью, которая свойственна людям, проводившим всю свою жизнь в придворных дрязгах и дипломатических переговорах. Он был одет в тёмный, строгий камзол, с орденом Андрея Первозванного на шее, который он носил как знак своего положения, и от него пахло старыми бумагами, табаком и тем особым, едва уловимым запахом старческих одежд, который появляется у людей, живущих в официальных кабинетах десятилетиями.

Рядом с ним, у камина, стояла императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, женщина, уже давно перешагнувшая порог молодости, но всё ещё сохранившая следы той необыкновенной, пышной красоты, которая в своё время приводила в восторг весь двор. Она была бледна, её лицо носило следы бессонной ночи, и она смотрела на огонь с тем беспокойством, которое было свойственно ей всегда, ибо Елизавета боялась придворных интриг больше, чем внешнего врага, больше, чем войны, ибо знала, что в её дворце каждый человек, даже самый преданный, готов вонзить нож в спину, если это сулит ему выгоду. Она куталась в тёплую шаль из ирландского кружева, которую подарил ей Бестужев на прошлое Рождество, и её пальцы, унизанные перстнями, нервно перебирали бахрому, издавая тот лёгкий, шуршащий звук, который раздражал старого канцлера, но он не смел сказать ей об этом.

- Ваше Величество, - сказал Бестужев, отрываясь, наконец, от письма и поднимая на императрицу свои усталые, хитрые глаза. - Я должен сказать вам правду, хотя она может вам не понравиться. Если мы не остановим Фридриха сейчас, он захватит Польшу, а затем придёт к нашим границам. Его армия сильна, но не непобедима. Нам нужна война, но на наших условиях. Мы не должны воевать за Австрию - мы должны воевать за Россию, за наши интересы, за нашу безопасность.

Елизавета Петровна тяжело вздохнула и начала теревать кружево на рукаве, нервно перебирая пальцами. Она была императрицей, но в душе она оставалась дочерью Петра Великого, которая, несмотря на весь свой ум и образование, всегда боялась своих придворных, боялась Шуваловых, Лестока, Воронцовых - всех этих хищных, жадных людей, которые только и ждали, чтобы она ошиблась, чтобы она проявила слабость. Она знала, что война может отвлечь их от заговоров, что она даст ей время и пространство, чтобы укрепить свою власть, и это знание боролось в ней со страхом, со страхом перед кровью, перед потерями, перед неизвестностью.

- Хорошо, Алексей Петрович, - сказала она, наконец, и голос её, всегда звучный и ясный, сейчас дрожал от напряжения. - Я подпишу, но смотри, чтобы нас не обманули. Я не хочу, чтобы Россия стала пешкой в чужой игре. Я не хочу, чтобы наши солдаты умирали за чужие земли, за чужие амбиции.

Она поднялась с кресла, подошла к столу, взяла перо и с трудом, словно перо было тяжелее железа, поставила подпись под указом о вступлении в войну. Пальцы её дрожали, перо скрипело по бумаге, оставляя неровные, местами прерывающиеся линии, но подпись была поставлена, и приказ был отдан. Когда она закончила, она повернулась к углу комнаты, где на небольшом столике, покрытом белой скатертью, висела икона Казанской Божией Матери, мерцающая в свете лампы, которая горела здесь непрерывно уже много лет, ибо Елизавета

была женщина верующая, богобоязненная, и она верила, что эта икона защищает её от всех врагов. Она перекрестилась, трижды кланяясь, и прошептала:

- Господи, сохрани Россию. Сохрани меня от предателей, от недоброжелателей, от всех, кто замышляет зло. Сохрани нашу веру, сохрани наш народ.

Бестужев молчал, глядя на императрицу и на икону. Он знал, что её вера была искренней, что она действительно верила в силу иконы, в силу молитвы, в то, что Бог защитит её. Но он также знал, что политика - это искусство, которое не имеет ничего общего с верой, что это искусство обмана, искусство использовать людей и их слабости, их страхи и надежды. И он был готов использовать веру своей императрицы, чтобы защитить страну, чтобы направить войну в нужное русло, чтобы спасти Россию от той опасности, которая, как он видел, надвигалась на неё с запада.

Дон, станица Берёзовская. Утро было ясным, морозным и хрустальным, таким утром, когда воздух звенит от холода, а каждое дыхание превращается в белое облачко, которое тает через несколько мгновений. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы - невысокой, деревянной, с облупившимся куполом, на котором уже давно не было краски и который требовал починки, - звонил колокол, сзывая верующих на молебен. Звон его был глухим, старческим, но он разносился далеко по степи, и казаки, которые уже начали свои хозяйственные дела, бросали работу и шли к церкви, снимая на ходу папахи и крестясь на купол, который тускло блестел на утреннем солнце, покрытый инеем, словно алмазной пылью.

Станица жила своей обычной, размеренной жизнью: казаки чинили плуги и сани, женщины топили печи и месили тесто, дети, шумные и румяные, гоняли кур и собак по грязным, но уже подмёрзшим улицам. Но в это утро всё было по-особенному, ибо звон колокола был не обычным, а тревожным, и люди знали, что сегодня будет молебен о победе русского оружия, о здравии императрицы и о заступничестве Пресвятой Богородицы в той великой войне, которая уже стояла на пороге их домов. Люди шли в храм, входили в полумрак, где пахло ладаном, воском, старой, тёплой древесиной и дыханием десятков людей, и крестились на иконы, и кланялись до земли, и в глазах их была та тихая, покорная вера, которая передавалась у казаков из поколения в поколение, от дедов к отцам, от отцов к сыновьям.

Емельян Берёзов, двадцатипятилетний казак, высокий, широкоплечий, с живыми, тёмно-кариыми глазами и русыми волосами, которые выбивались из-под его новой, праздничной папахи, стоял в толпе у самого входа, почти у дверей, откуда видно было всё, что происходит внутри церкви. Рядом с ним стоял его дед, Иван, которому было уже далеко за семьдесят, но он всё ещё держался прямо, как держался в молодости, когда ходил в походы против турок, опираясь на свой старый, потёртый костыль, память о турецкой сабле, которая много лет назад, в бою под Очаковым, чуть не отняла у него ногу. Иван был старым воином, и его рассказы о турецких походах, о том, как они брали крепости и как бились с янычарами, всегда завораживали станичников, и Емельян в детстве мог слушать его часами.

Священник, отец Алексей, вышел из алтаря, держа Евангелие в руках. Он был седым, с добрыми, чуть прищуренными глазами, которые, казалось, видели душу каждого прихожанина, знали все его тайны, все его грехи и все его надежды. Он начал литургию, и голос его, чистый, звучный, разнёсся по храму, заполняя его тем особым, благоговейным звуком, который всегда трогал сердца прихожан. Запах ладана смешивался с запахом старого дерева и с дыханием людей, и в этом таинственном полумраке, где только свечи и лампы освещали тёмные лики святых, Емельян чувствовал, как что-то тёплое, согревающее, разливается в его груди, как то, что он называл верой, наполняет его душу той невыразимой силой, которая, как он знал, поможет ему выжить в любой битве.

Когда литургия окончилась, отец Алексей вышел к народу, держа Евангелие открытым на главе от Иоанна, и начал читать:

- «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

Он закрыл книгу, поднял глаза на прихожан и произнёс ту проповедь, которую он готовил уже несколько дней, зная, что эта проповедь, возможно, станет последним напутствием для многих из тех, кто стоит перед ним в этом старом, деревянном храме:

- Братья мои, сестры мои! Враг идёт на нашу землю. Прусский король возгордился гордыней своей и хочет попрасть нашу веру, наши обычаи, нашу свободу. Но мы, казаки, сыны Дона, всегда стояли за Веру, за Царя и Отечество. Крест Христов - наше оружие, и мы не отдадим его врагу. Кто готов идти на брань? Кто готов положить душу свою за други своя, как заповедал нам Господь?

Емельян смотрел на икону Спасителя, на крест над алтарём, на свечи, которые горели ровным, тихим пламенем, и в его душе происходила та борьба, которая всегда происходит в человеке перед лицом неизбежной опасности. Он не хотел умирать, он любил свою Аксинью, он любил свою станицу, он хотел жить долго и счастливо, растить детей, пахать землю, рыбачить на Дону. Но он также знал, что есть вещи, которые важнее жизни, и что долг защитника, долг воина, долг православного человека - это то, что нельзя предать, это то, от чего нельзя отречься.

Он перекрестился, широко, размашисто, как это делали его деды, и прошептал, почти неслышно, одними губами:

- Господи, если призовут - пойду, пойду без колебаний. Не ради царя, не ради императрицы, а ради веры и земли, ради того, чтобы враг не пограл святынь наших.

Старый Иван, стоящий рядом и слышавший этот шёпот, положил свою сухую, шершавую руку на плечо внука. Ладонь его была холодной и твёрдой, как у человека, который знал цену жизни и смерти, и в этом прикосновении было столько молчаливой, мужской любви, что у Емельяна на мгновение защипало в глазах.

- Знаю, не хочешь воевать, Емеля, - сказал дед, и голос его, тихий, хриплый, но твёрдый, как сталь, звучал в тишине церкви, где уже начали собираться те, кто хотел исповедаться перед дорогой. - Знаю, что душа твоя не лежит к крови, что ты мечтаешь о мире, о доме, о Аксинье. Но вера, сынок, велит защищать ближних, а не воевать по своей воле. Иди и не бойся. Я сам турецкие сабли видал, и Бог хранил меня, и тебя сохранит. Помни: «Кто на Бога уповает, тот не погибнет». Я, старый, десять раз смотрел смерти в глаза и всё жил, и ты живи, но не будь трусом.

Емельян кивнул, не в силах говорить, чувствуя, как слова деда, его вера, его опыт проникают в его душу и делают её сильнее. Он перекрестился ещё раз, трижды поклонился на иконы, приложился к кресту, который держал отец Алексей, и вышел из церкви, окунувшись в морозный, чистый воздух, который обжёг его лёгкие. Он поднял голову к небу, где сквозь тонкую облачность уже проступали первые звёзды - Вега, Денеб, те самые звёзды, на которые он смотрел в детстве, сидя у костра и слушая дедовы рассказы. Ему было страшно, но вера была сильнее страха, и он чувствовал, что этот страх, который он переживает сейчас, только закалит его, сделает его тем воином, каким он должен стать.

Тот же вечер был тихим, прозрачным, с тем особенным, осенним затишьем, которое бывает на Дону только перед первыми заморозками. Ветер шумел в сухой, жёлтой траве, и широкая донская степь затихала, готовясь к ночи, к темноте, к холоду. Емельян сидел у старой берёзы - той самой, которую посадил его дед Иван ещё в молодости, когда вернулся с турецкого похода и решил, что на этом месте будет его дом и его сад. Берёза выросла высокой, стройной, с белым, как снег, стволом и тонкими, гибкими ветвями, которые тянулись к небу, словно руки, воздетые в молитве. Рядом с Емельяном сидела Аксинья, его невеста, молодая, чернобровая казачка с тёплыми, заботливыми руками и большими, тёмными глазами, которые сейчас были полны слёз.

Они сидели молча, и в этом молчании было столько невысказанных слов, столько боли, столько любви, что любой посторонний, увидев их, почувствовал бы ту тяжесть, которая давила

на их сердца. Акси́нья была беременна, её живот, который она скрывала под тёплой, шерстяной шалью, уже заметно округлился, и она часто прижимала к нему руки, словно защищая своего будущего ребёнка от того зла, которое надвигалось на их мир.

Емельян молчал, глядя на закат, который окрашивал небо в багряные, кровавые тона, и ему казалось, что этот закат - знак, предзнаменование того, что скоро и его кровь, и кровь его товарищей прольётся на эту землю, окрашивая её в те же цвета. Акси́нья держала в руках медный нателный крест - старый, потёртый, с гладкими от долгого ношения краями, которые блестели, отражая свет догорающего дня. Этот крест принадлежал её матери, а до того - её бабушке, и он был единственным сокровищем, которое она принесла в их дом.

- Возьми, Емеля, - прошептала она, и голос её дрожал от слёз, которые она старалась сдерживать. - Возьми этот крест. Он от моей матери, от моей бабушки. Господь да сохранит тебя, сохранит от пули, от сабли, от всякой беды. Он хранил их в лихую годину, сохранит и тебя, если ты будешь верить и помнить о нас.

Емельян взял крест, чувствуя, как холодный металл нагревается в его ладони. Он провёл пальцами по гладкой поверхности, по той выщербине, которая была на кресте с тех пор, как его бабушка, говорят, упала с лошади, но крест уцелел, и она выжила. Он посмотрел на маленькое распятие, на фигурку Христа, и вспомнил слова деда: «На Бога уповай, но и сам не плошай».

- Я вернусь, Акси́нья, - сказал он, и голос его был твёрд, хотя внутри у него всё дрожало от той любви и от той боли, которые он испытывал, глядя на неё. - Вернусь с победой, или не вернусь никогда. Но я сделаю всё, чтобы вернуться. И мы обвенчаемся в нашей церкви, как только я вернусь. Я обещаю тебе, обещаю перед этой берёзой, перед этим небом, перед этим крестом.

Акси́нья заплакала, уткнувшись лицом в его плечо, и её слёзы, горячие, солёные, пропитали сукно его рубахи. Она не хотела его отпускать, она хотела держать его, спрятать его от этой войны, от этого зла, но она знала, что он должен идти, что это его долг, его вера, его судьба. Ветер шумел в ветвях берёзы, и сквозь его шелест им обоим казалось, что они слышат тихое, далёкое пение, которое доносится откуда-то сверху: «С нами Бог, разумеете, языцы, и покаряйтесь». Эти слова проникли в их сердца, и оба, не сговариваясь, перекрестились, глядя на запад, где уже заходило солнце, окрашивая степь в золото и кровь.

Емельян убрал крест Акси́нии за пазуху, рядом с тем крестом, который носила его мать, и прижал ладонь к груди, чувствуя, как два креста, два символа веры, два символа любви, лежат рядом с его сердцем. Он знал, что теперь он не один, что с ним вера, с ним его род, с ним берёза, которая будет ждать его возвращения.

В ту же ночь, когда станица уже засыпала, погружаясь в ту тяжёлую, безмолвную тишину, которая бывает только в казачьих станицах в ночь перед большой бедой, на улицу выехала телега, запряжённая парой уставших, низкорослых лошадей. Колёса скрипели по мёрзлой земле, и лошади всхрапывали, и пар клубился из их ноздрей, тая в холодном ночном воздухе. Телегу везли казачьего атамана, статного мужчины с пышными усами и пронзительным взглядом, и вербовщика, присланного из Войска Донского, усталого, с красными глазами, в потёртой шинели и с папкой бумаг под мышкой.

Вербовщик остановился у церкви, где отец Алексей уже зажигал свечи, и громко, на всю площадь, прочитал указ императрицы, тот самый указ, который она подписала в Петербурге дрожащей рукой: «Повелеваю собрать казачьи полки для защиты Отечества от врага прусского, ибо наступила година тяжкая, и всякий, кто способен носить оружие, должен встать на защиту Веры, Царя и Отечества».

Казачи выходили из своих домов, хмурые, серьёзные, в тулупах, папахах, с оружием в руках, и слушали указ в полной тишине, и никто не отказывался, никто не пытался спорить, ибо каждый знал, что война - это их судьба, их долг, их крест. Они собирались у церкви, где уже отец Алексей, облачённый в ризы, стоял перед иконами и кадил, и дым ладана поднимался

к потолку, смешиваясь с дыханием десятков людей, которые стояли в тесноте, плечом к плечу, как стояли их предки перед битвой.

Начался напутственный молебен. Емельян стоял на коленях у самого алтаря, рядом с ним стояли его товарищи - молодые и старые, такие же, как он, казаки, которые готовы были идти на смерть. Отец Алексей, держа крест в одной руке и кадило в другой, читал молитвы о воинах, о защите земли Русской, о том, чтобы Господь даровал им победу и сохранил их от всякого зла. Голос его звучал торжественно и печально, и в этом голосе чувствовалась та искренняя, глубокая вера, которая передавалась всем присутствующим, наполняя их души силой и решимостью.

Когда молебен закончился, Емельян причастился, поцеловал крест, который держал отец Алексей, и вышел из храма, сжимая в руке нательный крест Аксины. На западной стороне неба, над холмами, сияла яркая, холодная звезда, та самая звезда, которую старики называли Вифлеемской и которая, по их поверьям, всегда являлась воинам перед дальней дорогой, освещая им путь и указывая на то, что Бог не оставляет своих сыновей. Емельян посмотрел на неё, и ему показалось, что звезда мерцает, словно подмигивая ему, словно говоря: «Не бойся, иди, я с тобой».

- Благослови, Господи, путь мой, - прошептал он и шагнул к телеге, которая уже ждала его, чтобы увезти в неизвестность, туда, где уже собирались полки, где ждали сражения, кровь, смерть и, может быть, победа.

Позади него раздался колокольный звон - это отец Алексей ударил в старый, потрескавшийся колокол, провожая своих станичников в путь, в эту тяжёлую, неведомую дорогу. Солдаты, стоящие рядом с Емельяном, перекрестились, и кто-то начал тихо петь «Спаси, Господи, люди Твоя», и голоса, сначала робкие, затем всё более уверенные, сливались в один мощный хор, который звучал над станицей, над заснувшей степью, над всей этой огромной, многострадальной землёй. И в этой песне, под звон колокола, чувствовалась та странная, глубокая вера, которая давала этим людям силу идти в неизвестность, умирать, убивать и верить в то, что они делают правое дело.

Емельян залез в телегу, сел на мешок с сухарями, которые ему дала мать, и оглянулся. Станица скрывалась в сумерках, но он знал, что за ним смотрят: дед Иван, Аксины, отец Алексей, все те, кого он оставлял здесь. И берёза, белая, стройная, которая будет ждать его возвращения, и донская степь, которая будет помнить его шаги, и небо, которое будет хранить его молитвы.

Глава 2. Союз трёх

Петербург, Зимний дворец, февраль тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Зима в тот год стояла лютая, такая, какой не помнили даже старожилы: мороз достигал тридцати градусов, Нева замёрзла до самого дна, и по ней, скрипя полозьями, ездили сани, а над городом висела густая, свинцовая мгла, которая не рассеивалась даже в полдень. В кабинете императрицы Елизаветы Петровны, несмотря на то что камин топили с утра и дрова в нём горели жарко, было холодно - высокие, огромные окна затянуло толстым слоем инея, и сквозь этот ледяной узор едва пробивался бледный, бессильный свет, падавший на паркет и отражавшийся в золочёных зеркалах. За окнами кружил снег, и ветер с Финского залива завывал в трубах с такой тоской, что даже привыкшие к петербургским метелям слуги вздрагивали и крестились на образа.

Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, женщина, которая в молодости своей была первой красавицей России, а теперь, на исходе пятого десятка, всё ещё хранила следы той пышной, величественной красоты, сидела в глубоком кресле у камина, накрыв ноги тёплым бархатным пледом с золотой бахромой. Лицо её, когда-то свежее и румяное, теперь было бледно, покрыто тонкой сеткой морщин у глаз и губ, и на этом лице лежала печать той непреходящей тревоги, которая не покидала её уже много лет. Она держала в руках союзный

договор с Австрией и Францией - тяжёлый пергамент, скреплённый несколькими сургучными печатями, и перечитывала его, но взгляд её был рассеян, и она не видела строк, ибо все мысли её были заняты другим: она смотрела на огонь, где дрова трещали и разбрасывали искры, и в этом огне ей чудилось что-то страшное, что-то, что должно было прийти в её жизнь вместе с этой войной, которую она так боялась.

Алексей Петрович Бестужев, канцлер Российской империи, стоял напротив императрицы, держа в руках плотный, набитый бумагами портфель. Он был в парадном мундире, при всех орденах, но лицо его, изрезанное морщинами, было серым от усталости, под глазами лежали глубокие тени - он не спал уже третью ночь, готовя этот договор, который должен был изменить не только судьбу России, но и всю расстановку сил в Европе. Он смотрел на Елизавету и ждал, и в этом ожидании было всё его терпение, вся его преданность и вся та хитрость, которую он накопил за долгие годы придворной службы.

- Ваше Величество, - сказал он, наконец, и голос его был тих, но твёрд, как сталь, - я должен напомнить вам, что время не ждёт. Фридрих уже узнал о наших переговорах, и его шпионы действуют в Петербурге. Если мы не подпишем договор в ближайшие дни, он может опередить нас и заключить сепаратный мир с Австрией, и тогда мы останемся одни против его армии.

Елизавета подняла на него глаза, и в этих глазах был не тот ясный, решительный взгляд, который она умела принимать на публике, а тот глубокий, животный страх, который она прячала от всех, даже от самых близких. Её пальцы, униженные кольцами - одно из них, с крупным сапфиром, было подарком её покойного отца, - дрожали, и она сжала их в кулак, чтобы скрыть эту дрожь.

- Алексей Петрович, - сказала она, и голос её был тих, почти шёпотом, - я подпишу этот договор, я знаю, что должна. Но я должна сказать тебе правду, ту правду, которую я не говорю никому: я не хочу войны, я боюсь её. Боюсь, что она принесёт гибель России, что наши солдаты будут умирать в чужих землях, что наша казна опустеет, и народ наш, и без того угнетённый, поднимется против нас. Но ещё больше я боюсь, что без войны меня свергнут. Ты знаешь, Алексей Петрович, что Шуваловы уже плетут свои интриги - я знаю это, я чувствую это каждым своим нервом. Они хотят посадить на трон кого-то из своих, кого-то, кто будет послушен им, и если я не покажу им, что я сильна, что я способна на решительные действия, они убьют меня во сне, как убили моего отца, как убивали всех, кто стоял на их пути.

Она наклонилась вперёд, и её пальцы, униженные кольцами, вцепились в подлокотник кресла так сильно, что побелели суставы. Она посмотрела на угол комнаты, где на небольшом столике, покрытом белой, расшитой жемчугом скатертью, висела икона Казанской Божией Матери, и лампада, горевшая перед ней, мерцала, бросая жёлтые, трепетные блики на золотой оклад и на тёмный лик Богородицы. Елизавета перекрестилась, широко, размашисто, как это делал её отец, и прошептала, одними губами:

- Господи, прости меня, прости меня, грешную, за то, что я начинаю войну, которую так боюсь. Я не хочу крови, я не хочу смерти, но я защищаю Россию так, как умею, так, как велит мне моя совесть и моя вера. Если это спасёт мою веру и мою страну, пусть будет так. Воля Твоя, Господи, а не моя.

Бестужев молчал, глядя на императрицу. Он знал её уже много лет, и знал, что её мотивы были сложнее, чем просто страх или политический расчёт. Она действительно любила Россию, той любовью, которая была свойственна её отцу, и в то же время она боялась потерять власть, боялась тех людей, которые окружали её и которые, как она знала, готовы были предать её в любую минуту. Он подошёл к столу, положил перед ней договор, открыл на той странице, где стояла подпись, и протянул ей гусиное перо, обмакнув его в чернильницу.

- Ваше Величество, - сказал он тихо, почти ласково, как говорят с больным ребёнком, - подпишите. Это защитит вас. Шуваловы не посмеют действовать, пока мы воюем, ибо война

отвлечёт их от интриг. А пока мы воюем, Россия остаётся сильной. Это не ради Австрии, не ради Франции - это ради нас. Ради вашей веры, ради вашей власти, ради вашего народа.

Елизавета взяла перо, и рука её дрогнула. Она поставила подпись, но чернила растеклись на бумаге, и буквы были неровными, словно она писала в лихорадке. Когда она закончила, она отбросила перо, закрыла лицо руками и заплакала - тихо, беззвучно, так плачут женщины, которые всю жизнь не позволяли себе слабости и вдруг, в один миг, почувствовали, что не могут больше держать эту тяжесть.

- Я боюсь, Алексей Петрович, - сказала она, не поднимая головы. - Я боюсь, что мы проиграем. Я боюсь, что все мои молитвы, все мои жертвы будут напрасны.

Бестужев подошёл к ней, положил свою сухую, старческую руку на её плечо и сжал его так, как сжимают плечо близкого человека.

- Мы не проиграем, Ваше Величество, - сказал он. - С нами Бог. И с нами наша вера. И пока мы верим, мы сильны.

Елизавета подняла голову, вытерла слёзы кружевным платком, который лежал у неё на коленях, и кивнула. Она была императрицей, и она должна была быть сильной - даже если внутри неё всё дрожало от страха, даже если каждую ночь она просыпалась в холодном поту, думая о том, что её враги уже близко. Она поднялась с кресла, подошла к иконе, перекрестилась трижды, поклонилась до земли и прошептала свою молитву, ту самую, которую она читала каждый день:

- Пресвятая Богородица, Мати Божия, спаси и сохрани Россию. Спаси и сохрани меня, грешную, от всех врагов, видимых и невидимых. Даруй мне силу и мудрость править народом моим. Аминь.

И в этом её шёпоте была та искренняя, глубокая вера, которая давала ей силы жить и царствовать, несмотря на все страхи и тревоги.

Потсдам, дворец Сан-Суси, март тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Королевская резиденция Фридриха II, этот изящный, лёгкий дворец в итальянском вкусе, стоял на холме, спускаясь террасами к реке Хафель. За окнами королевского кабинета таял снег, и сад, где уже начинали набухать почки на голых кустах, просыпался от зимней спячки, но в душе короля Пруссии не было весеннего обновления - там было только беспокойство, тревога и та холодная ярость, которая всегда появлялась у него, когда он чувствовал, что его окружают со всех сторон. Фридрих стоял у окна, держа в руках флейту, которую он сжимал так сильно, что костяшки пальцев побелели. Он был одет в свой обычный, поношенный мундир - казна прусская была настолько пуста, что даже на новый мундир не было денег, и он экономил на всём, даже на собственной одежде, считая это не унижением, а необходимостью, которую он терпел с той стоической гордостью, которая была свойственна его натуре.

Музыка, которую он извлекал из флейты, была фальшивой: ноты срывались, дребезжали, не попадали в такт, и Фридрих злился на себя, на свою флейту, на весь этот мир, который так несправедливо обходился с ним. Он продолжал играть, но в душе его нарастала та глухая, звериная злоба, которая всегда предшествовала его самым решительным действиям. Он смотрел на сад, на голые кусты и мокрые дорожки, по которым уже гуляли первые солнечные зайчики, но не видел этой красоты: он думал о деньгах, о которых думал постоянно, как о своей главной головной боли.

Казна была пуста - он потратил всё, что у него было, на армию, на укрепления, на подкупы и на содержание той сложной шпионской сети, которая опутывала всю Европу. Но этого было мало. Война требовала денег, а денег не было, и Фридрих, который ненавидел любые компромиссы, вынужден был идти на тот риск, который он так презирал в других: он издал тайный указ о печати фальшивых ассигнаций, и теперь его агенты, переодетые купцами, развозили эти бумажки по всей Европе, скупая оружие, провиант и лошадей. Это было преступ-

ление, и он знал это, но у него не было выбора: или так, или его армия будет разбита, не сделав ни одного выстрела.

В дверь постучали, и вошёл адъютант, молодой офицер с бледным, испуганным лицом. В руках он держал тяжёлую папку с бумагами, и пальцы его дрожали, когда он протягивал её королю.

- Сир, - сказал он, и голос его был сдавлен от волнения, - известие из Версаля и Вены. Франция, Австрия и Россия подписали союзный договор против нас. Война неизбежна.

Фридрих резко повернулся, отбросив флейту на диван, где она ударилась о подушку и издала жалобный, дребезжащий звук. Он схватил бумаги, пробежал их глазами, и его лицо, и без того бледное, стало серым, как пепел. Но вдруг, вместо того чтобы впасть в отчаяние, он расхохотался - громко, неестественно, так, что адъютант вздрогнул и попятился к двери.

- Три бабы против меня! - воскликнул он, швыряя бумаги на стол, где они разлетелись по дубовой поверхности, словно стая испуганных птиц. - Старая, ханжеская католичка Терезия, толстая, богомольная раскольница Елизавета и эта версальская блудница Помпадур! Что они могут сделать? Они думают, что их молитвы, их иконы, их чётки помогут им победить мою армию, мою дисциплину, мою стратегию? Глупцы, жалкие, ничтожные глупцы!

Он подошёл к столу, на котором лежали пачки фальшивых ассигнаций - стопки бумаги, которые выглядели как настоящие банкноты, но были лишь искусной подделкой. Он взял одну из них, поднёс к свече, посмотрел на свет, и на его губах заиграла та холодная, презрительная усмешка, которая была так хорошо знакома его врагам.

- Напиши Лестоку, - приказал он, не оборачиваясь, и голос его был сух и резок, как у командира, отдающего приказ на поле боя. - Пусть продолжает сеять раздор среди русских. Они любят спорить о вере, их церковь полна интриг, и это на руку нам. Удвой сумму, которую мы обещали их генералам. Но денег нет - дай им эти. Пока они не поймут, что это фальшивка, мы уже будем в Берлине. И пусть Лесток помнит: если он предаст меня, я предаю его, и его голова будет болтаться на воротах Петербурга.

Адъютант молча кивнул и вышел, не смея поднять глаз на короля. Фридрих остался один, глядя на фальшивые ассигнации, и в его голове уже роились новые планы. Он снова взял флейту, поднёс к губам и начал играть - но музыка снова была фальшивой, и он бросил флейту на пол, так что она со звоном покатилась по паркету. Он зашагал по комнате, проклиная всех, и в его дворце, где не было икон, не было крестов, не было никаких символов веры, только книги Вольтера, которые лежали на столе, и старые часы с кукушкой, которые отбивали время, словно насмехаясь над его гордыней и над той пустотой, которая царила в его душе.

Вена, императорский дворец, апрель тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Весна в этом году пришла в Вену рано: Дунай вскрылся в конце марта, и теперь его воды, мутные, полные талого снега и обломков льда, шумели за окнами императорского кабинета, принося запах речной воды и сырой земли. Мария Терезия сидела за массивным письменным столом, заваленным картами, донесениями и проектами договоров, и держала в руках письмо, которое она собиралась отправить в Петербург. Она перечитывала его, тихо шевеля губами, и на её лице, красивом и властном, лежала та сосредоточенность, которая появлялась у неё всегда, когда она готовилась к важному шагу.

Она была одета в простое, тёмное платье, без украшений, и лишь на шее висел золотой крест с драгоценными камнями, который достался ей от покойной матери. Её руки, униженные кольцами, лежали на столе, и когда она нашла ошибку в своём письме, она нахмурилась и начеркала несколько строк на полях, исправляя текст. В кабинет вошёл её канцлер, граф Кауниц, и поклонился с той изысканной грацией, которая была свойственна всем австрийским аристократам.

- Ваше Величество, - сказал он, протягивая ей новый, чистый лист бумаги, - письмо готово к переписке. Прошу вас подписать его.

Мария Терезия взяла перо, обмакнула его в чернила и поставила размашистую, уверенную подпись. Но когда она передала письмо Кауницу, её пальцы слегка дрожали, и она сделала паузу, прежде чем заговорить.

- Граф, - сказала она, и в голосе её была та ирония, которая всегда появлялась у неё, когда она говорила о России, - я должна признаться, что сделала опечатку. Я написала «Сестра моя» вместо «Ваше Величество». Русская императрица, конечно, оскорбится - она же считает себя великой государыней, а я обращаюсь к ней как к сестре, как к равной. Но я не буду переписывать это письмо. Пусть остаётся так.

Кауниц взглянул на письмо, и его лицо выразило ту лёгкую тревогу, которую он редко показывал перед императрицей.

- Ваше Величество, - сказал он осторожно, - позвольте мне заметить, что это может вызвать дипломатический конфликт. Елизавета Петровна - женщина гордая, и она не прощает таких ошибок. Если она сочтёт, что вы умышленно оскорбили её, она может разорвать союз, и тогда все наши планы рухнут.

Мария Терезия подняла на него глаза, и в них зажёгся тот холодный, стальной блеск, который появлялся у неё всегда, когда она чувствовала, что кто-то ставит под сомнение её решения.

- Пусть оскорбится, - сказала она, и голос её был твёрд, как железо. - Я хочу, чтобы она знала своё место. Без её пушечного мяса я не смогу одержать победу, но я не позволю ей забыть, что Австрия - великая держава, а Россия - просто варварская страна, которая молится иконам и не знает истинной веры. Если она хочет союза, пусть глотает обиду, как глотают горькое лекарство. Я не стану унижаться перед ней.

Она откинулась на спинку кресла и вздохнула, и в этом вздохе было всё её величие и всё её одиночество, которые она несла с тех пор, как взошла на престол. Когда письмо было отправлено, она поняла, что, возможно, ошиблась. Елизавета могла разорвать союз, и тогда все её планы, все её надежды на возвращение Силезии рухнут. Она приказала послу в Петербурге смягчить ситуацию, но в душе она не верила, что русские способны на что-то серьёзное: для неё они были схизматиками, варварами, которые молятся иконам и не знают той красоты и глубины католической веры, которую она исповедовала.

А в Петербурге Елизавета действительно оскорбилась, когда прочитала это письмо. Она сидела в своём кабинете, сжимая его в руке, и лицо её побледнело от гнева.

- Как она смеет? - прошептала она, и голос её дрожал. - Как она смеет обращаться ко мне как к сестре? Я - императрица, дочь Петра Великого, а она - всего лишь королева, которая сидит на троне по милости мужа. Она думает, что я не замечу этого оскорбления?

Но Бестужев, который стоял рядом и видел её гнев, спокойно сказал:

- Ваше Величество, позвольте мне объяснить. Австрийцы хотят использовать нас, но мы не будем их марионетками. Пусть пишут что хотят - мы знаем свою цену. Нам нужен их союз, чтобы победить Пруссию, а не их уважение. Мы сильнее их, мы больше их, и мы победим, несмотря на их гордыню.

Елизавета кивнула, но обида осталась в её сердце. Она зажгла свечу перед иконой Казанской Божией Матери, той самой, которая, по её вере, защищала Россию от всех врагов, и долго стояла на коленях, молясь, чтобы Господь дал ей силы терпеть унижения и вести свою страну к победе.

Петербург, кабинет Бестужева, май тысяча семьсот пятьдесят шестого года. В комнате пахло сыростью, воском и старой бумагой, и даже в это время года, когда уже наступила весна, в кабинете было холодно: окна были плотно закрыты, чтобы не впускать холодный ветер с Невы. Канцлер сидел за своим столом, заваленным бумагами, и перебирал донесения, которые пришли от его шпионов из Пруссии, из Вены, из Парижа. Внезапно его пальцы наткнулись на

плотный конверт, который был помечен грифом «Секретно» и перевязан шёлковой лентой. Он вскрыл его, развернул лист и начал читать.

Это было письмо Фридриха II к одному из русских генералов, и в нём говорилось о золоте, которое король обещал за задержку наступления русской армии. Сумма была огромной - десять тысяч талеров, переведённых через подставных голландских купцов. Бестужев перечитал письмо дважды, и его лицо помрачнело так, что стало похоже на каменную маску. Он понял, что среди генералов есть предатель, кто-то, кто готов продать свою честь, свою веру, свою Родину за деньги, которые предложил ему враг.

Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и почувствовал ту тяжёлую, гнетущую усталость, которая всегда наваливалась на него, когда он сталкивался с тем, что люди, которым он доверял, готовы предать его. Вокруг него не было никого, кому он мог бы доверять: Шуваловы, Лесток, Воронцовы - все они были втянуты в придворные интриги, и любой из них мог быть тем предателем, о котором говорилось в письме. Он не мог доверять даже своим собственным помощникам, ибо знал, что в этом дворце каждый готов продать своего друга за награду.

Он долго сидел в тишине, глядя на лампаду, которая горела перед иконой Спаса Нерукотворного, и молился о мудрости, о силе, о том, чтобы Господь помог ему найти этого предателя, прежде чем он нанесёт удар. Затем он встал, подошёл к столу, достал чистый лист бумаги и написал короткое письмо - без подписи, без адресата, без всяких указаний на то, кому оно предназначено. Он отдал его своему личному курьеру, старику, которому доверял больше всех, с указанием доставить его в дом князя Трубецкого.

«Князь, - писал он, и слова его были сухи и кратки, - я нуждаюсь в верном человеке. Приходите завтра вечером в мой кабинет. Дело касается измены и чести России. Алексей Бестужев».

На следующий вечер, когда на Неве опустился туман и город погрузился в тот серый, промозглый сумрак, который так характерен для петербургской весны, в кабинет вошёл молодой князь Трубецкой, лет двадцати пяти, с ясными, честными глазами и тонкими, благородными чертами лица. Он был одет в простой, тёмный костюм, без орденов и украшений, и держался скромно, но с тем внутренним достоинством, которое было свойственно старым русским родам. Он поклонился канцлеру, и тот жестом пригласил его сесть.

- Князь, - начал Бестужев, и голос его был серьёзен и тих, - я перехватил письмо Фридриха к одному из наших генералов. В нём обещание золота за предательство. Я не знаю, кто этот генерал, и я не могу доверять никому из своего окружения. Я хочу, чтобы вы следили за армией, за генералами, за тем, кто берёт деньги и кто готов продать Родину. Вы будете моими глазами и ушами, ибо я верю, что вы - человек чести.

Трубецкой молчал несколько секунд, и в его глазах мелькнуло то понимание, которое приходит к человеку, когда он осознаёт всю тяжесть ответственности, которую на него возлагают. Он медленно кивнул, и в этом кивке было всё его согласие и вся его готовность идти на риск.

- Я сделаю это, Ваше Сиятельство, - сказал он, и голос его был твёрд, как у человека, принявшего решение. - Я пойду в армию и буду следить за тем, что происходит. Господь поможет мне найти правду, даже если эта правда будет страшной.

Бестужев снял с шеи свой нательный крест, старый, потемневший от времени, с выщербленными краями, который он носил ещё со времён своей молодости, и протянул его Трубецкому.

- Возьмите, князь, - сказал он. - Этот крест хранил меня в самые трудные времена. Пусть хранит и вас. Ступайте с Богом и помните, что вы служите не мне, а России.

Трубецкой взял крест, перекрестился, широко, размашисто, как это делали его предки, и, поклонившись, вышел из кабинета. Ночь была тёмной, и на Неве завывал ветер, но он шёл без страха - с верой в сердце и с крестом на шее.

Дон, станица Берёзовская, июнь тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Стояло жаркое, знойное лето, степь цвела тем ярким, многоцветным ковром, который бывает только на Дону в пору цветения: трава поднималась выше колена, и воздух был наполнен запахом полыни, донника и мёда, который приносили пчёлы с окрестных пасек. Емельян стоял у той самой берёзы, которую когда-то посадил его дед, и смотрел на закат, где солнце садилось в багряное, пылающее море, окрашивая степь в золото и кровь. Рядом с ним сидела Аксинья, но теперь она была совсем другой: её лицо осунулось, глаза были красными от слёз, а на руках она держала ребёнка, который родился всего неделю назад. Ребёнок был не от Емельяна - его отец, молодой казак, утонул в Дону прошлой весной, когда переправлял плоты через бурную воду. Аксинья осталась одна, с младенцем на руках, и теперь она смотрела на Емельяна с той мольбой, которую он не мог вынести.

Он молчал, глядя на неё, и в его груди боролись два чувства: любовь к этой женщине, которая была для него всем, и та горечь, которая поднималась в нём при мысли о том, что этот ребёнок не его, что он должен будет носить на себе чужую кровь, чужие заботы. Но он видел, как она страдает, и понимал, что не может бросить её, не может оставить её одну с этим младенцем, без мужа, без надежды на будущее.

- Емеля, - сказала Аксинья, и голос её дрожал, как струна, которая готова порваться, - я знаю, что ты не отец моего ребёнка. Я знаю, что я не имею права просить тебя о чём-либо. Но если ты вернёшься с войны, я выйду за тебя. Ради него, ради этого ребёнка, который не виноват в том, что его отец погиб. Ради меня, потому что я не хочу быть одна, и я не хочу, чтобы он рос без отца. Ты для меня - единственная надежда.

Емельян закрыл глаза, и ветер коснулся его лица, принося запах донской травы и речной воды. Он посмотрел на небо, на берёзу, на белый ствол, который когда-то посадил его дед, и почувствовал, как внутри него всё переворачивается. Он не хотел этой войны, он не хотел брать на себя чужие обязательства, но он знал, что должен сделать выбор, который изменит всю его жизнь.

- Аксинья, - сказал он, и голос его был тихим, почти шёпотом, - я соглашусь. Ради тебя, ради ребёнка. Но я иду на войну не по своей воле. Я иду, потому что так надо, потому что вера велит защищать ближних. Но когда я вернусь, я женюсь на тебе и буду любить этого ребёнка как своего. Я обещаю тебе это.

Аксинья подняла на него глаза, и слёзы, которые она сдерживала так долго, покатались по её щекам. Она прижала ребёнка к груди и прошептала, едва слышно:

- Спасибо тебе, Емеля. Ты - настоящий человек. Ты - Берёзов.

Она протянула ему руку, и он сжал её, чувствуя, как её пальцы дрожат. Берёза шумела над ними, и казалось, что она одобряет его выбор, что она благословляет его на этот путь, на эту жизнь, которая будет полна тягот и лишений. Емельян поцеловал её в лоб, затем перекрестился, и, не оборачиваясь, пошёл в дом, чтобы готовиться к той долгой дороге, которая ждала его.

Дорога на запад, июль тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Телега, на которой везли новобранцев, скрипела на ухабах, и колёса её, тяжёлые, обитые железом, проваливались в глубокую, липкую грязь, которая осталась после летних дождей. Пыль поднималась столбом, смешиваясь с потом и запахом лошадей, и солнце, палящее, жаркое, висело над головой, как раскалённый шар. Емельян сидел на дне телеги, прикованный цепью к борту - он пытался сбежать от вербовщиков в ту самую ночь, когда его забрали, но его поймали и теперь держали под замком, чтобы он не повторил свою попытку. Цепь натирала запястье, кожа была содрана до крови, но он не жаловался, ибо знал, что заслужил это наказание.

Рядом с ним сидел молодой парень, лет двадцати, с круглым, добродушным лицом и весёлыми, озорными глазами, которые сверкали даже в пыли и грязи. Он был родом с Украины, и все называли его хохлом Иваном. Он не был прикован - он сам сел в эту телегу добровольно,

не дожидаясь вербовщиков, и теперь болтал без умолку, рассказывая истории о своей деревне, о девушках, о своей матери, которая каждое утро молилась за него и посылала ему в дорогу иконку Николая Чудотворца.

- А ты чего такой хмурый, казак? - спросил Иван, пододвигаясь ближе и протягивая Емельяну краюху чёрного хлеба. - Война - дело житейское. Главное - верить в Бога и держать ухо востро. Мой батяня всегда говорил: «Без Бога ни до порога», и это правда. Я сам в церковь хожу, иконы целую, и меня пуля ещё ни разу не брала. А ты? Ты веришь в Бога?

Емельян поднял глаза на Ивана, и в них была та глубокая усталость, которая появляется у человека, прошедшего через многое, но сохранившего в душе веру в лучшее.

- Верю, - сказал он тихо, - но я не хотел на войну. Я хотел остаться дома, с семьёй, с невестой. Но меня забрали, и теперь я здесь.

Иван усмехнулся, хлопнул его по плечу своей широкой, тёплой ладонью:

- Эх, казак, ты не один такой! Половина из нас не хочет воевать, но мы идём, потому что так надо. Потому что вера велит нам защищать свою землю. Вот увидишь, мы ещё друзьями станем. Ты - Берёзов, я - Хохол, а вместе мы - сила. Главное, молись, и Бог поможет. Он никогда не оставляет тех, кто верит в него.

Емельян посмотрел на Ивана, и впервые за долгое время на его лице появилась слабая, робкая улыбка. Он взял хлеб, отломил кусок, прожевал и почувствовал, как тепло разливается по его телу - не столько от хлеба, сколько от того, что рядом с ним оказался человек, готовый поддержать его.

- Ладно, Иван, - сказал он. - Будем друзьями. Вместе идти по этой дороге легче.

Они пожали друг другу руки, крепко и тепло, как делают солдаты перед боем. Телега заскрипела, лошадь всхрапнула, и они покатили дальше, в ту неизвестность, которая ждала их на западе. Колёса стучали по камням, пыль летела в лицо, но оба молились - каждый про себя, о своём, о тех, кто остался дома, и казалось, что вместе с ветром, который дул с востока, доносится тихое, протяжное пение: «С нами Бог, разумеете, языцы, и покарайтесь, яко с нами Бог».

Глава 3. Интриги при дворе

Петербург, июль тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Лето в тот год выдалось душным, тяжёлым, таким, когда даже по ночам воздух оставался липким и влажным, пропитанным запахом Невы, которая, казалось, испарялась под палящим солнцем, отдавая городу сырость и гнилостный дух водорослей. Особняк австрийского посла графа Эстерхази, выстроенный в модном тогда итальянском стиле, с колоннами и лепными фасадами, сиял огнями, словно драгоценная шкатулка, брошенная посреди тёмного, убогого города. Свечи горели ярусами, отражаясь в огромных венецианских зеркалах и хрустальных подвесках люстр, и этот свет, многократно умноженный, создавал иллюзию бесконечного пространства, в котором кружились, переливались, сталкивались друг с другом люди, одетые в свои лучшие одежды. В бальном зале было тесно до духоты: французские дипломаты в напудренных париках, с вычурными жабо, австрийские офицеры в расшитых золотом мундирах, русские вельможи с тяжёлыми орденами на шеях, которые звенели при каждом движении. Пахло французскими духами - мускусом, амброй, сандалом, - смешанными с запахом горячего воска, человеческого пота и терпкого красного вина, которое лилось рекой из тяжёлых хрустальных графинов. Эта смесь запахов оседала на языке, как приторная, почти тошнотворная сладость, и в этой духоте трудно было дышать, но ещё труднее было мыслить ясно.

Князь Александр Трубецкой стоял у одной из колонн, поддерживавших высокий, расписанный фресками свод, скрестив руки на груди и делая вид, что внимательно рассматривает роспись потолка, изображавшую какого-то античного героя, возносящегося на небо в колеснице. Он был одет в свой лучший, тёмно-синий мундир с серебряным кружевным воротником,

который, как нарочно, натирал шею, но он не обращал внимания на этот мелкий дискомфорт, ибо все его мысли были заняты другим. Под рубашкой, у самого сердца, лежали два предмета, два талисмана, которые он носил с собой с того самого дня, как Бестужев возложил на него это тяжёлое поручение: нательный крест, старый, потемневший от времени, с выщербленными краями, который передавался в его роду от отца к сыну уже не одно поколение, и маленькая иконка Божией Матери «Всех скорбящих Радость», освящённая на Афоне, которую дал ему сам канцлер. Иконка была тёплой от его тела, и он иногда, незаметно для окружающих, касался её пальцами через тонкую ткань рубашки, чтобы успокоить себя, чтобы напомнить себе, что он не один, что над ним есть Бог, который видит всё и который не даст погибнуть тому, кто идёт по пути правды.

За соседним столом, накрытым зелёным сукном и уставленным бокалами и графинами, сидели двое дипломатов. Трубецкой узнал их с первого взгляда: французский посланник де Бретейль, человек с тонким, словно выточенным из слоновой кости лицом, острым, хищным носом и вечно прищуренными глазами, которые, казалось, видели все тайны мира, и австрийский советник фон Шварценберг, грузный, краснолицый мужчина, лицо которого лоснилось от жары и выпитого вина, а пальцы, унизанные перстнями, нервно постукивали по столу. Они говорили вполголоса, наклоняясь друг к другу так близко, что их напудренные парики почти соприкасались, и Трубецкой, стоявший достаточно близко, чтобы слышать каждое слово, напряг слух, чувствуя, как внутри него поднимается та холодная волна, которая всегда предшествовала его самым опасным решениям.

Француз наклонился к австрийцу так, что его тонкие, бледные губы почти касались уха собеседника, и прошептал, и в голосе его слышалось то же холодное, расчётливое презрение, которое Трубецкой так хорошо научился распознавать в этих стенах:

- Пусть русские лезут вперёд, пусть они умирают за наши интересы. У них казаки шустрые, это правда, и солдаты их выносливы, как лошади. Но кровь у них дешёвая, очень дешёвая, мой друг. Нам важно, чтобы они связали Фридриха, сковали его армию, не дали ему двинуться на нас. А там, когда они измотают друг друга, мы договоримся - мы всегда договариваемся. Русские нам не нужны, они только пушечное мясо, и пусть они сжигают свои иконы и молятся своим святым, это не мешает нам использовать их так, как мы считаем нужным.

Шварценберг усмехнулся, и его жирные, обвислые щёки затряслись, словно студень на блюде. Он отпил из тяжёлого хрустального бокала, вытер губы вышитой салфеткой и сказал, и голос его был густым, маслянистым, как вино, которое он пил:

- Россия - это наш таран, друг мой, наш таран, который мы направим на прусскую стену. Они молятся своим иконам, думают, что Бог за них. Какая наивность, какая детская, варварская наивность! Мы знаем, кто на самом деле правит миром, - мы, просвещённые люди, знаем, что Бог - это наше казначейство, наша дипломатия, наше золото. Золото, а не молитвы, мой друг. Пусть они воюют, а мы будем пожинать плоды. Ты видел, как они крестятся перед каждым боем, как они целуют свои иконы? Это смешно, почти трогательно. Но пусть - их вера делает их сильнее, а нам это только на руку. Они будут драться до последнего, как бешеные псы, а мы в это время будем торговаться, будем делить шкуру ещё не убитого медведя.

Трубецкой медленно сжал кулаки, и ногти его, коротко стриженные, впились в ладони, оставляя глубокие, болезненные следы. Он чувствовал, как кровь приливает к его лицу, как внутри него закипает тот праведный, жгучий гнев, который он всегда старался подавлять, но который сейчас, в эту минуту, казалось, рвался наружу, готовый выплеснуться в словах или действиях. Он хотел подойти к ним, схватить их за глотки, вытрясти из них эту гнилую, лицемерную спесь, хотел крикнуть им в лицо, что Россия - это не пушечное мясо, что её народ - не скот, которым можно торговать на европейских биржах. Но он сдержался, ибо знал, что сейчас не время для гнева, что его миссия требует терпения и осторожности.

Он сделал вид, что рассматривает люстру, но краем глаза продолжал следить за ними, запоминая каждое слово, каждую интонацию, каждый жест. Когда дипломаты, закончив свой разговор, поднялись и разошлись в разные стороны - француз направился к буфету, а австриец - к выходу на террасу, - Трубецкой незаметно, так, чтобы никто не увидел, перекрестился, прикасаясь пальцами к иконке под рубашкой.

- Господи, прости им, - прошептал он одними губами, и голос его был тих, но твёрд, как сталь, выдержавшая закалку. - Не ведают, что творят, ибо слепы в своей гордыне. Но Ты видишь всё, Ты знаешь их замыслы, Ты читаешь их сердца, как открытую книгу. Защити Россию от их коварства, не дай им погубить нашу землю, нашу веру, наш народ.

Он подошёл к буфету, взял бокал с красным вином, но не стал пить - только покрутил его в руках, глядя на игру света в хрустале, на то, как вино, тёмное и густое, оставляло на стенках бокала тягучие, кровавые следы. Внезапно его взгляд скользнул по залу и остановился на Марии Хованской, его невесте, той самой, которую он любил с детства и ради которой готов был идти на любые жертвы. Она стояла у высокого, стрельчатого окна, в лёгком голубом платье, которое подчёркивало её тонкую, хрупкую фигуру, и держала в руке веер, которым обмахивала своё бледное, встревоженное лицо. Её глаза, большие и ясные, блестели, и Трубецкой видел, что она смотрит на него, что она видела, как он сжимал кулаки, и догадывалась, что произошло что-то ужасное, что-то, что могло погубить его.

Он едва заметно кивнул ей, и она ответила тем же жестом, лёгким, почти незаметным. Он знал, что она понимает его без слов, что они были на одной стороне - против врагов, против лжи, против тех, кто хотел разрушить Россию, и это знание давало ему силы.

На следующее утро, когда солнце ещё не поднялось над Петербургом, и город был окутан тем серым, промозглым туманом, который всегда приходит с Невы в конце июля, Трубецкой уже стоял в кабинете Бестужева. В комнате, как всегда, пахло воском, старой бумагой, сургучом и тем особым, едва уловимым запахом, который появляется в кабинетах, где десятилетиями велись государственные дела. Канцлер сидел за своим массивным дубовым столом, заваленным стопками донесений, перед ним горела лампада, и её жёлтый, трепетный свет освещал икону Спаса Нерукотворного в тяжёлой серебряной ризе, которая стояла в углу на высоком аналое. Лицо Бестужева было встревоженным, почти измученным: глубокие морщины на лбу, тени под глазами, и руки его, сухие, старческие, сжимали очередное письмо, только что перехваченное у курьера на границе.

- Садись, князь, - сказал он, не поднимая головы, но указывая рукой на стул, стоящий напротив стола. - Я получил ещё одно письмо от Фридриха, и в нём он предлагает деньги нашему главнокомандующему, Апраксину, чтобы тот задержал наступление, чтобы он дал прусской армии время перегруппироваться. Но это не всё, князь, это не всё. Есть и другие письма, другие имена. Лесток, граф Лесток, который так близок к императрице, - он тоже на крючке у прусского короля. Он получает золото и обещает продать Россию.

Бестужев отложил письмо и поднял глаза на Трубецкого, и в этом взгляде была та стальная, непоколебимая твёрдость, которая всегда появлялась у него в минуты величайшей опасности, но смешанная с той глубокой, человеческой усталостью, которую не могли скрыть никакие ордена и регалии.

- Ты должен понять, князь, - сказал он, и голос его был серьёзен и тих, как голос человека, который говорит о том, что решает судьбы мира, - наша армия разваливается изнутри. Генералы берут золото, придворные плетут интриги, а императрица, наша государыня, слаба, очень слаба, и она боится всех, кто её окружает. Если мы не найдём предателей, не обличим их, не выведем на чистую воду, мы проиграем эту войну. Проиграем не только войну, но и Россию, ибо враг, который действует изнутри, страшнее любого внешнего неприятеля.

Он поднялся из-за стола, тяжело, опираясь на руки, и подошёл к старому дубовому шкафу, стоявшему у стены. Шкаф был резной, потемневший от времени, с бронзовыми руч-

ками, на которых уже стёрлась позолота. Бестужев открыл его, порылся среди бумаг, книг и старых папок, и достал оттуда небольшую икону, которую Трубецкой увидел впервые. Это был образ Спаса Нерукотворного, старый, с потемневшим окладом, с ликом, стёртым от долгих, бесчисленных прикосновений, и с одной, едва заметной трещиной на доске, которая, казалось, придавала иконе ещё большую святость. Бестужев держал её в руках бережно, как держат самое дорогое, и в его глазах мелькнула та глубокая, детская вера, которую он так искусно прятал за маской сухого, расчётливого политика.

- Это с Афона, князь, - сказал он, протягивая икону Трубецкому. - Моя мать дала мне её, когда я уходил на службу, много лет назад, и она всегда была со мной. Она хранит человека в правде, отводит от него ложь и помогает отличить друга от врага. Возьми её, князь. Ты поедешь в армию, в действующую армию, и будешь следить за Апраксиным, слушать, что говорят офицеры, что доносится из палаток. Если Лесток появится в армии, если он начнёт свои интриги там - немедленно сообщи мне. Я должен знать всё, каждое слово, каждый шаг предателей.

Трубецкой принял икону, чувствуя её тяжесть и то тихое, успокаивающее тепло, которое исходило от старого, потемневшего дерева. Он перекрестился, приложившись к лику Спаса, и спрятал икону за пазуху, рядом с крестом, который носил с детства.

- Ваше Сиятельство, - сказал он, и голос его дрогнул, хотя он старался говорить твёрдо, - а если Лесток узнает, что я за ним слежу? Если он догадается, что я послан вами? Он не остановится ни перед чем, он убьёт меня, как убивал других.

Бестужев усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья, только та горькая, сухая ирония, которая появляется у людей, слишком долго живущих среди лжи.

- Тогда ты не вернёшься, князь, - сказал он, и голос его был холоден и ровен, как лёд. - Лесток не остановится ни перед чем, ты прав. Но если ты не пойдёшь, если ты откажешься от этого поручения, Россия проиграет. Выбирай, князь. Долг или страх. Родина или жизнь.

Трубецкой встал, выпрямился во весь рост, и в этом движении было всё его достоинство, вся его вера, вся та сила, которая передавалась в его роду от предков-воинов. Он перекрестился на икону Спаса Нерукотворного, широко, размашисто, как это делали его деды, и голос его, хотя внутри всё дрожало, был твёрд и ясен:

- Я выбираю Россию, Ваше Сиятельство. Я выбираю долг, я выбираю веру. Я сделаю всё, что в моих силах, и даже больше. Господь поможет мне, я верю в это.

Он поклонился, повернулся и вышел из кабинета. За дверью он услышал тихий, дрожащий голос Бестужева, который читал молитву:

- Господи, сохрани раба Твоего Александра, сохрани его на пути правды, дай ему силы найти и обличить зло. Сохрани Россию, Господи, не дай ей погибнуть от рук предателей.

Трубецкой перекрестился, прикасаясь к иконе под рубашкой, и пошёл по длинному, тёмному коридору, чувствуя, как иконка греет его грудь, как крест, старый, потемневший, лежит у самого сердца.

Та же ночь, и Петербург был окутан тем густым, непроглядным мраком, который бывает только в конце июля, когда белые ночи уже прошли, и город погружается в настоящую, южную темноту. Трактир «У трёх сазанов», стоявший на самой окраине города, в тени старых, развесистых тополей, был тем заведением, куда не заглядывали порядочные люди: грязное, прокуренное, с чёрными от копоти стенами, протекающей крышей и полом, который скрипел под ногами, как живой. Здесь пахло кислым пивом, дешёвым табаком, сыростью и потом, и в этом запахе было что-то животное, почти осязаемое.

Трубецкой сидел в дальнем углу, за столом, который стоял в тени, так что его лицо было почти не видно. Он был закутан в тёмный, грубый плащ с поднятым воротником, и на голове у него была простая, без всяких украшений, шапка. На столе перед ним стояла кружка тёмного, горького пива, которую он даже не притронул: он не пил сейчас, ибо ему нужно было сохранять ясность ума. В руке он перебирал чётки - деревянные, выточенные из простой берёзы, бусины,

которые скользили между его пальцами, успокаивая его, возвращая ту внутреннюю тишину, которая была так нужна ему перед этой встречей. Он ждал, и в этом ожидании была вся его сосредоточенность и весь его страх.

Через полчаса дверь трактира скрипнула, и в неё вошёл граф Лесток. Трубецкой узнал его сразу, даже в этом полумраке, даже несмотря на то, что он был без парика, с простым, небрежно зачёсанными назад волосами: высокий, сутулый, с лицом, скрытым глубокой тенью, и с глазами, которые блестели, как у хищной птицы. Он был одет в простой чёрный плащ, почти сливавшийся с темнотой, и в руках он держал трость с серебряным набалдашником. За ним следом вошёл плотный, коренастый мужчина с немецким акцентом, который нёс в руках кожаный мешок, тяжело набитый чем-то, что при каждом движении издавало глухой, металлический звон.

Они сели за дальний стол, заказали вина и заговорили вполголоса, наклоняясь друг к другу. Трубецкой замер, напрягая слух, и он слышал обрывки фраз, которые доносились до него сквозь шум трактира, сквозь гул пьяных голосов и звон посуды:

- Передайте королю, - говорил Лесток, и голос его был тих, но резок, как лезвие только что выточенного ножа, - что я сделаю всё, чтобы русские не дошли до Берлина. Пусть он не сомневается во мне, пусть он знает, что я - его верный союзник в этом медвежьем углу. Я сделаю так, что армия застрянет на полпути, она будет топтаться на месте, как стадо баранов. Задержка наступления, дезинформация, подкуп генералов - всё будет так, как он хочет.

Немец протянул ему мешок, и тот снова звякнул металлом. Лесток взял его, взвесил на руке, и на его тонких, бледных губах появилась та холодная, довольная усмешка, которую Трубецкой никогда не забудет. Затем Лесток снял с шеи нательный крест - позолоченный, с яркими, блестящими камнями, который издавна казался дорогой, изысканной вещью, - но Трубецкой, стоявший достаточно близко, видел, что это была фальшивка: крест был сделан из дешёвой, позеленевшей меди, а камни были просто стекляшками, которые блестели только благодаря свету свечей. Лесток поднёс этот крест к своим губам, поцеловал его с той же фальшивой, театральной набожностью, с которой он целовал иконы на глазах императрицы, и сказал, и голос его был громок и отчётлив:

- Клянусь этим крестом, этим крестом, который я ношу на своей груди, я предам русскую армию, я предам Россию, если Фридрих заплатит мне столько, сколько я попрошу. Я продам всё, что можно продать, и никто не остановит меня, ибо я умнее всех, ибо я вижу дальше всех.

Трубецкой сжал чётки так сильно, что деревянные бусины впились в его ладонь, оставляя глубокие, красные следы. Он почувствовал, как желчь подступила к его горлу, как внутри него всё перевернулось от этой мерзости, от этой лжи, от этого кощунства. Но он сдержался, он не вскочил, не крикнул, не бросился на предателя, ибо знал, что сейчас не время для этого. Он тихо, одними губами, прошептал молитву:

- Господи, суди его по делам его, суди его по словам его, суди его по той клятве, которую он дал на фальшивом кресте. Ты видишь его предательство, Ты видишь его душу, чёрную, как эта ночь. Ты увидишь и его наказание, и оно будет страшным, ибо нет большего греха, чем предать свою Родину и свою веру.

Он дождался, пока Лесток и его немецкий друг закончили разговор, поднялись и вышли из трактира. Только тогда Трубецкой поднялся из-за стола, накинул капюшон на голову и вышел на улицу. Там, в сырой, тёмной ночи, его вырвало - не от пива, не от дурной пищи, а от той мерзости, которая заполнила его душу после того, что он увидел и услышал. Он присел на корточки, уткнувшись лицом в свои дрожащие ладони, и долго, очень долго сидел так, не в силах подняться. Затем он встал, перекрестился на тёмное небо, на котором едва мерцали редкие звёзды, и пошёл к дому, размышляя о том, как вывести предателя на чистую воду, как сделать так, чтобы его преступление стало явным для всех.

Зимний дворец, покои императрицы, та же ночь. В комнате, где стояла тишина, нарушаемая только ровным дыханием спящей Елизаветы, ночь была тихой, но внутри императрицы бушевала настоящая буря. Она стояла на коленях перед иконой Казанской Божией Матери в тяжёлом, золотом окладе, перед которой горела лампада, и в этом полумраке, освещённом только жёлтым, трепетным светом, её лицо казалось бледным, измождённым, как у человека, который не спал несколько суток. На её щеках были следы слёз, губы шевелились в шёпоте молитвы, и пальцы её, унизанные кольцами, судорожно перебирали четки. В комнате пахло ладаном, воском и той особой, церковной тишиной, которая всегда царит в местах, где люди молятся искренне и страстно, и в этом полумраке казалось, что икона смотрит на неё живыми глазами, что Богородица видит её страхи и её надежды.

- Матерь Божия, Пресвятая Богородица, - шептала она, и голос её дрожал, - защити Россию, защити меня, грешную. Я знаю, что я слабая, что я боюсь, что я не могу справиться со всеми этими интригами, со всей этой ложью. Шуваловы хотят свергнуть меня, Лесток плетёт свои тёмные дела, и я не знаю, кто друг, а кто враг. Бестужев - кажется, единственный, кому я могу верить, но даже ему я не верю до конца, ибо ложь окружает меня со всех сторон. Господи, вразуми меня, укажи мне путь, покажи мне, где правда, а где обман.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошёл Лесток. Он был одет в элегантный, тёмно-синий камзол, с кружевным жабо, и на его лице играла та мягкая, почти ласковая улыбка, которая всегда появлялась у него, когда он говорил с императрицей, но в глазах его был холодный, расчётливый блеск. Он подошёл к Елизавете, положил свою руку на её плечо, и голос его был мягким, почти вкрадчивым, как у человека, который умеет говорить то, что его собеседник хочет услышать:

- Ваше Величество, вы слишком много молитесь, слишком много думаете, слишком много переживаете. Это изнуряет вас, это разрушает ваше здоровье. Не лучше ли вам отдохнуть? Выпить моих капель - они успокаивают нервы, они возвращают сон и спокойствие. Я приготовил их специально для вас, Ваше Величество, я знаю, что вам нужно.

Елизавета вздрогнула, отшатнулась от него, как от змеи, и резко поднялась с колен. Её глаза, ещё влажные от слёз, блеснули гневом и тем животным страхом, который всегда появлялся у неё, когда она чувствовала опасность.

- Капли? - прошептала она, и голос её дрожал, как струна, готовая порваться. - Ты опять хочешь дать мне свои капли? Ты хочешь меня отравить, как отравили моих врагов? Я знаю, я знаю, что все хотят моей смерти! Бестужев, ты, Шуваловы - вы все жаждете моей крови, вы все хотите завладеть моим тронem, вы все ждёте, когда я закрою глаза!

Лесток сделал шаг назад, и его лицо, мгновение назад мягкое и ласковое, стало каменным, как маска, которую он надевал и снимал по своему желанию. Он знал, что перегнул палку, что он напугал её, и теперь пытался исправить ситуацию, пытался вернуть ту власть над её сознанием, которую он имел так долго.

- Ваше Величество, - сказал он, и голос его стал холодным, как сталь, но с оттенком той деланной обиды, которая должна была тронуть её сердце, - вы ошибаетесь, вы глубоко ошибаетесь. Бестужев против вас, Бестужев - ваш главный враг. Он хочет войны только для того, чтобы ослабить вашу власть, он готов пожертвовать Россией ради своих амбиций, ради своей гордыни. Но у меня есть доказательства, Ваше Величество, есть письма, которые я перехватил, есть документы, которые я могу показать вам. Позвольте мне сделать это, и вы увидите, кто ваш настоящий друг.

Он протянул ей бумаги - аккуратно сложенные листы с поддельными подписями и печатями, которые он подготовил заранее, с той тщательностью, которая была свойственна его натуре. Елизавета взяла их, пробежала глазами, и её руки задрожали так сильно, что бумаги зашелестели, как сухие листья. Она перекрестилась, прижала письма к своей груди, где билось её испуганное, измученное сердце, и прошептала:

- Господи, да что же это? Да что же это такое? Никому нельзя верить, ни одному человеку нельзя доверять! Все обманывают меня, все хотят моей гибели!

Лесток, пряча свою торжествующую улыбку за маской сочувствия, поклонился и вышел из комнаты. В коридоре он сказал своему адъютанту, человеку с такими же холодными, расчётливыми глазами, как у него:

- Начинаем, друг мой. Бестужев должен пасть через две недели, не позже. Я хочу, чтобы его голову принесли мне на блюде, как голову Иоанна Крестителя, и чтобы никто не смел идти против меня.

Прошёл месяц, месяц напряжённой, опасной работы, в течение которого Трубецкой жил в постоянном страхе быть обнаруженным. Он тайно встречался с Марией Хованской в усадьбе её отца, стоявшей на самой окраине Петербурга, в тени старых, развесистых лип. В комнате, куда она провела его, пахло сухими травами, которые висели пучками под потолком, и старым, тёплым деревом, и сквозь высокое окно пробивался тусклый, серый свет дождливого дня. Мария была бледна, её руки дрожали, когда она протягивала ему конверт, на котором не было ни подписи, ни печати, только одинокий сургучный кружок.

- Саша, - сказала она, и голос её был тих, почти шёпотом, - я была в доме Лестока сегодня, когда его не было. Он ушёл к императрице и оставил свои бумаги на столе, прямо на столе, в своей рабочей комнате. Я украла одно письмо, то, которое лежало сверху. Вот, возьми.

Трубецкой взял конверт, вскрыл его дрожащими пальцами, развернул лист и начал читать. Это было письмо Лестока к Фридриху II, в котором он подробно описывал свой план: задержать наступление русской армии, дезинформировать командование, подкупить ключевых генералов и сделать всё возможное, чтобы Россия не смогла оказать серьёзного сопротивления прусской армии. Там были суммы, были имена, были сроки - всё было изложено чётко, ясно, неопровержимо.

- Мари, - сказал он, и голос его дрожал от волнения, - ты рисковала своей жизнью, ты понимаешь это? Если Лесток узнает, что ты взяла это письмо, он убьёт тебя, он не остановится ни перед чем. Зачем ты это сделала? Зачем ты пошла на такой риск?

Мария подняла на него глаза, и в них было столько твёрдости, столько мужества, что он на мгновение замер, поражённый её силой.

- Я не могу смотреть, как предатели губят Россию, Саша, - сказала она, и голос её был твёрд, как железо. - Я не могу сидеть сложа руки и ждать, пока они уничтожат всё, что нам дорого. Это наш долг, мой и твой, - защищать нашу веру, наше Отечество, наш народ. Иди к Бестужеву, передай ему это письмо. И молись, чтобы Господь дал нам силы закончить это дело.

Трубецкой взял её руку, поцеловал её пальцы, которые были холодными и дрожащими, и сказал, и голос его был хриплым от волнения:

- Я сделаю всё, чтобы защитить тебя, Мари, я обещаю тебе это. А теперь - прощай. Если я не вернусь...

- Вернёшься, - перебила она, улыбнувшись сквозь слёзы, и в этой улыбке было всё её тепло, вся её любовь, всё её мужество. - Ты - Трубецкой, Саша. Твой род берёт начало от веры, от тех людей, которые строили Россию. Ты сильный, ты победишь, я знаю это.

Он спрятал письмо за пазуху, рядом с иконой, подаренной Бестужевым, и рядом с крестом, который носил с детства, и вышел в ночь. На небе, где тучи разошлись на мгновение, сияли звёзды, но на западе, над самой границей, уже поднималось тусклое, багровое зарево, которое Трубецкой принял за знак того, что война уже близко, что она уже стоит на пороге России.

Поздняя ночь, кабинет Бестужева. Канцлер сидел за своим столом, и перед ним лежало письмо, которое принёс Трубецкой, - то самое письмо, которое Мария украла из дома Лестока. Бестужев читал его медленно, вдумчиво, и лицо его мрачнело с каждой строчкой, с каждым словом. Пальцы его, сухие и старческие, сжимали бумагу так сильно, что она почти рвалась, и

когда он закончил чтение, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, и в этой позе было всё его отчаяние и вся его решимость.

- Это то, что нам нужно, князь, - сказал он, наконец, и голос его был глух и тих. - Это прямое, неопровержимое доказательство. Но одного письма мало, очень мало. Лесток скажет, что это подделка, он будет кричать об этом на всех углах, и ему поверят, ибо он близок к императрице, ибо он умеет говорить и умеет лгать. Нам нужно, чтобы он выдал себя сам, чтобы он сделал это прилюдно, при свидетелях. Мы устроим ловушку на балу у австрийского посла, через три дня. Там будет много людей, много свидетелей, и мы сделаем так, что Лесток сам себя выдаст.

Трубецкой кивнул, но почувствовал вдруг ту слабость, которая всегда появляется у человека, когда он понимает, что от его решений зависит слишком многое. Он сел на стул, стоявший у стены, снял с шеи свой нательный крест и начал гладить его пальцами, проводя по гладкой, тёплой поверхности, словно ища у этой древней, святой вещи поддержки и утешения.

- А если он не попадётся? - спросил он, и голос его был тих, почти беззвучен. - Если он почувствует ловушку? Если он откажется идти на бал? Что тогда?

Бестужев подошёл к иконе Спаса Нерукотворного, стоявшей в углу на высоком аналое, перекрестился, широко, размахисто, как это делали его предки, и сказал, и в голосе его была та глубокая, спокойная вера, которая может быть только у человека, прошедшего через множество испытаний:

- Тогда мы проиграем, князь. Проиграем эту битву, но не войну, ибо Господь не оставляет тех, кто верит в него. Ты веришь в это, князь? Ты веришь в то, что Бог поможет нам?

Трубецкой поднял глаза на канцлера, на икону, на лампаду, горевшую перед ней, и почувствовал, как внутри него разливается та тихая, глубокая уверенность, которая всегда помогала ему в самые трудные моменты его жизни.

- Верю, Ваше Сиятельство, - сказал он, и голос его был твёрд, как сталь, закалённая в огне. - Верю в Бога, верю в Россию, верю в нашу победу.

Он встал, подошёл к иконе, перекрестился, приложился к ней, и начал читать молитву, ту самую, которую читал его дед, когда шёл на войну, и его отец, когда отправлялся в дальние походы:

- Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Даруй нам мудрость и силу обличить врага, не дай ему погубить Россию, не дай ему разрушить нашу веру. Спаси и сохрани нас, Господи, от всякого зла, от всякой лжи, от всякого предательства. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Бестужев перекрестился, затем подошёл к столу, погасил свечи, и в комнате остался только жёлтый, трепетный свет лампы, падающий на лик Спаса. Они ушли в темноту, но лампада горела, и вера была с ними, и эта вера была их единственным, но самым сильным оружием.

Глава 4. Русская армия готовится

Рига, конец лета тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Стояла та пора, когда солнце, уже не такое жаркое, как в июле, но ещё по-летнему палящее, висело над городом, и воздух над плацем дрожал от зноя, словно над раскалённой печью. Пыль, поднимаемая тысячами солдатских сапог и лошадиных копыт, стояла столбом, оседая на мундирах, на лицах, на лошадиных крупах, смешиваясь с потом и превращаясь в ту липкую, серую грязь, которая покрывала всех и вся. Мухи, огромные, зелёные, роились над потными людьми, лезли в глаза, в носы, в уши, и солдаты то и дело отмахивались руками, но это помогало мало. Генерал-аншеф Степан Фёдорович Апраксин, главнокомандующий русской армией, сидел на своём огромном вороном коне, который, казалось, с трудом выдерживал тяжесть своего седока. Апраксин тяжело дышал, обливаясь потом, и его лицо, красное, одутловатое, с маленькими, заплывшими жиром глазами, выражало только одно желание - чтобы всё это поскорее кончилось. Он был толст,

его парадный мундир, расшитый золотом, трещал по швам, и на груди его блеснули тяжёлые ордена, которые он получил не за воинскую доблесть, не за подвиги на поле боя, а за долгую и верную службу при дворе, за умение угождать фаворитам и вовремя оказываться в нужном месте.

Адъютант, молодой офицер с бледным, испуганным лицом, стоял рядом и подавал генералу бумаги - приказы, донесения, списки личного состава. Апраксин брал их своей толстой, потной рукой, ставил подпись, не глядя, махал рукой и отдавал обратно. Ему было всё равно, что он подписывает, - он хотел только одного: чтобы эта жара кончилась, чтобы его оставили в покое и чтобы он мог вернуться в свою палатку, где стоял большой медный таз с водой и где слуги обмахивали его веерами. Ему было всё равно, что эти бумаги могут стоить жизни тысячам солдат, что его подписи могут отправить людей на смерть или на верную гибель. Он думал только о себе, о своём желудке, о своей усталости.

Князь Александр Трубецкой стоял в нескольких шагах от генерала, делая вид, что изучает карту, расстеленную на походном столике. Он был одет в лёгкий, тёмно-зелёный мундир, но и ему было душно, и пот стекал по его спине, пропитывая рубашку. В правой руке он незаметно, так, чтобы никто не видел, перебирал нательный крест, который висел у него на шее под рубашкой. Пальцы его, тонкие и длинные, скользили по гладкому, тёплому металлу, и это движение, ритмичное и спокойное, успокаивало его, помогало сосредоточиться на том, что он должен был делать. Он смотрел на Апраксина, и в душе его поднималась та холодная, ледяная волна отвращения, которую он испытывал ко всем этим придворным генералам, которые получили свои чины не за ум и не за храбрость, а за умение интриговать. Он видел: Апраксин не крестился, когда зазвонил походный колокол, не молился, как делали многие другие офицеры, стоявшие в строю. Это был плохой знак, очень плохой знак. Трубецкой знал, что человек, который не верит в Бога, не будет верен и своей стране, не будет верен своей присяге и своему народу.

Внезапно из строя, где стояли казаки, вырвался конь. Это был гнедой жеребец, молодой и горячий, с раздувающимися ноздрями и бешеными глазами. Он встал на дыбы, испугавшись громкого сигнала трубы, который пронёсся над плацем. Всадник, молодой казак, которого Трубецкой видел впервые, пытался удержать его, но конь рванул вперёд, задел лошадь Апраксина, и та, испугавшись, шарахнулась в сторону. Апраксин, потеряв равновесие, едва не свалился на землю - он ухватился за луку седла, и его лицо, и без того красное, побагровело от гнева и страха. Он выругался, грубо, солдатской бранью, и взревел на весь плац:

- Взять мерзавца! Выпороть при всём строю, чтобы все видели! Покажите этим казакам, этим дикарям, что такое дисциплина! Выпороть до крови, чтобы неповадно было!

Солдаты тут же схватили казака, стащили его с коня и повалили лицом в пыль, прижимая его руки к земле. Казак не сопротивлялся - только слышно было, как он шепчет, одними губами, свою молитву:

- Господи, помилуй меня, грешного. Господи, прости меня, недостойного. Воля Твоя, Господи, а не моя.

Трубецкой подошёл ближе и, всмотревшись в лицо лежащего в пыли человека, узнал в нём Емельяна Берёзова, того самого казака, о котором ему рассказывали как об одном из лучших разведчиков в армии. Он смотрел, как парень лежит в пыли, сжимая в руке нательный крест, и молится, не обращая внимания на пинки и тычки солдат, которые уже заносили над ним плётку. Трубецкой почувствовал, как внутри него поднимается тот гнев, который он так долго сдерживал, и, не думая о последствиях, он подошёл к Апраксину и сказал, тихо, но твёрдо:

- Ваше сиятельство, позвольте мне сказать вам слово. Этот казак - лучший разведчик в вашей армии. Его дед воевал с турками под знамёнами с иконой, и он сам - верующий человек, глубоко верующий. Таких людей не наказывают перед боем, иначе это вызовет ропот среди

казаков, а они, как вы знаете, народ гордый и вольный. Если мы накажем его сейчас, мы потеряем их доверие, а без казаков нам не выиграть эту войну. Отдайте его мне, я возьму его под личную ответственность, и он будет служить вам верой и правдой.

Апраксин пожал своими толстыми плечами, махнул рукой и сказал, и голос его был капризным и раздражённым:

- Забирай, князь, забирай. Делай с ним что хочешь. Но чтобы я его больше не видел, чтобы он был тише воды, ниже травы. И чтобы никаких происшествий больше не было, понял?

Трубецкой наклонился к Емельяну, помог ему подняться с земли, отряхнул с него пыль и сказал тихо, так, чтобы слышал только он:

- Вставай, казак. Господь сохранил тебя от порки, от того унижения, которое ты должен был пережить. Ты мне нужен живым и здоровым. Я знаю, что ты умеешь делать своё дело лучше многих. Иди в мою палатку, отдохни, помолись. Завтра начнётся работа.

Емельян поднялся, и в его глазах, тёмных и глубоких, Трубецкой увидел странную смесь: ненависть к этому толстому, бездарному генералу, который готов был избить человека за то, что его конь испугался, и благодарность к князю, который вступился за него. Он молчал, но сжимал в руке нательный крест, который дала ему Аксинья, и крестился, и Трубецкой заметил это и одобрительно кивнул. Он знал, что этот человек не враг ему, что он - союзник, и что вместе они смогут сделать то, что не смогли бы сделать поодиночке.

Вечер опустился на лагерь, и жара, наконец, начала спадать. Солнце, огромное и багровое, садилось за горизонт, и его последние лучи золотили верхушки старых сосен, росших вдоль реки. В лагере зажгли костры, и их огонь, жёлтый и живой, разгонял вечерний сумрак. Солдаты, уставшие за день, сидели у костров, варили кашу в чугунных котлах, пили чай из медных кружек, кто-то чистил оружие, кто-то перевязывал раны, которые натирали новые сапоги и мундиры. Емельян и Иван-хохол пристроились у самого края лагеря, под старой берёзой, которая росла на опушке леса, и её белый ствол, казалось, светился в сумерках. Иван достал из своего мешка маленькую иконку Николая Угодника, потёртую, с потемневшим от времени окладом, и поставил её на пенёк. Он зажёл лучину, и её жёлтый, трепетный свет упал на лик святого, и в этом полумраке икона казалась живой, смотрящей на них своими добрыми, мудрыми глазами.

- Помолимся, братцы, - сказал Иван, и голос его был серьёзен и спокоен. - Без молитвы мы как без рук, как без глаз. Господь даст нам сил, поможет нам выстоять и победить.

Несколько казаков подошли к ним, сняли шапки, перекрестились и встали на колени на мокрую, прохладную траву. Емельян начал читать «Отче наш» вслух, спокойно, чисто, без суеты, и голос его, низкий и ровный, звучал в вечерней тишине. Остальные вторили ему шёпотом, и их голоса сливались в один ровный, тихий гул, который поднимался к небу, к звёздам, которые уже начинали проступать на тёмном небосводе. Запах ладана от иконки смешался с дымом костра и с запахом мокрой травы, и в этом полумраке, при свете огня и лучины, они чувствовали себя не просто солдатами, не просто людьми, которых призвали на войну, а братьями, объединёнными одной верой, одним Богом, одной судьбой.

Подошёл Трубецкой. Он остановился у костра, молча смотрел на икону, на молящихся казаков, и в его душе поднималось то спокойное, глубокое чувство, которое он испытывал всегда, когда видел людей, молящихся искренне, без всякой театральности. Он сел на землю рядом с казаками, положив руки на колени, и не стал прерывать молитву - он просто ждал, пока они закончат, пока Емельян перекрестится и закроет икону.

Когда Емельян перекрестился и поднялся с колен, Трубецкой сказал, и голос его был тих и спокоен:

- Берёзов, ты молишься хорошо. Это у тебя от деда? От тех людей, которые передавали веру из поколения в поколение?

- От отца Алексия, нашего станичного священника, - ответил Емельян, не поднимая глаз.
- И от моей бабки, которая всю жизнь молилась и научила меня молитвам. Она говорила: «Кто с Богом, того пуля не берёт, а если берёт - значит, в рай попадает, к Господу». Я в это верю, князь. Верю всей душой.

Трубецкой кивнул, и протянул ему свою флягу, окованную серебром:

- На, выпей, казак. Не для греха, а для тепла. Ночь будет холодная, и мы все должны беречь силы. Война - это не только оружие, это ещё и терпение.

Емельян взял флягу, сделал один глоток, вернул обратно. Они сидели молча, слушая, как ветер шумит в берёзах на опушке, как где-то вдалеке слышится песня - кто-то из солдат пел про Дон, про степь, про дом, про ту жизнь, которую они оставили. И в этой тишине, среди ночи, среди костров и тёмного неба, они чувствовали себя не чужими, а одной большой семьёй, которая вместе идёт через испытания, через боль, через страдания.

Ночь была тёмной, безлунной, такой, когда кажется, что весь мир погрузился в густую, непроглядную тьму. Трубецкой, одетый в тёмный, грубый плащ, который почти не отличался от темноты, крался между повозками и палатками к шатру Апраксина. Он знал, что это рискованно, очень рискованно, ибо если его поймут, он может не дожить до утра, и его тело найдут где-нибудь в канаве с перерезанным горлом. Но он должен был узнать, кто ещё из штаба связан с пруссаками, кто из генералов продаёт свою честь за золото Фридриха.

Он пригнулся к самой земле, приложил ухо к брезенту шатра, стараясь не дышать, чтобы его не услышали. Внутри слышался хриплый, капризный, недовольный голос Апраксина, который говорил с кем-то, кого Трубецкой не мог видеть:

- Я задержал переправы, как обещал, - говорил Апраксин, и в голосе его слышались нотки страха и жадности одновременно. - Я сделал всё, что вы просили. Но если Бестужев узнает, что я взял эти деньги, он меня в порошок сотрёт, он меня уничтожит, и никто не вступится за меня. Ты понимаешь, на что я иду? Ты понимаешь, какой риск я принимаю на себя?

Второй голос - низкий, с сильным немецким акцентом, который Трубецкой сразу же узнал - ответил ему:

- Фридрих будет благодарен вам, генерал, очень благодарен. Ваша медлительность, ваша нерешительность даёт нам время укрепить Кёнигсберг, подготовиться к встрече с вашей армией. Вот ваша доля - пять тысяч талеров. Считайте это авансом, генерал. Когда вы задержите наступление ещё на месяц, вы получите ещё столько же.

Звон монет, тяжелый, металлический, прозвучал в тишине. Трубецкой затаил дыхание, и его пальцы сжали нательный крест, который висел у него на груди. Он читал беззвучно, одними губами, ту молитву, которую он всегда читал в минуты опасности:

- Господи, помоги мне не выдать себя, не выдать себя ни единым звуком, ни единым движением. Дай мне силы запомнить всё, что я слышу, каждое слово, каждый звук. Не дай мне погибнуть, пока я не выполню свой долг перед Россией.

Он попытался разглядеть собеседника через крошечную щель в брезенте, но тот был одет в длинный чёрный плащ, с капюшоном, который скрывал его лицо. Трубецкой напряг зрение до боли, но смог разглядеть только руки - белые, почти прозрачные, с длинными, тонкими пальцами, унизанными тяжёлыми, старомодными кольцами. Это было всё, что он мог запомнить.

Внезапно внутри шатра стул скрипнул - кто-то поднимался. Трубецкой отскочил от брезента и замер за ближайшей повозкой, прижавшись спиной к её деревянным колёсам. Мимо него, быстро и бесшумно, словно призрак, прошла фигура в чёрном плаще. Она исчезла в темноте, растворилась в ней, и князь не успел разглядеть лица. Он выдохнул, глубоко, с облегчением, и, убедившись, что всё тихо, вернулся в свою палатку.

Сев на свою походную кровать, он открыл свой дневник, зажёл свечу и начал писать, и перо его скрипело по бумаге:

«Апраксин взял золото. Я слышал это своими ушами. Он продал Россию за пять тысяч талеров, за жалкую цену. Предательство - смертный грех, но он не боится Бога, он боится только разоблачения. Кто же был второй? Лесток? Или кто-то из штаба? Голос немецкий, руки белые, в тяжёлых кольцах. Надо запомнить это, надо найти его. Господи, дай мне мудрости, дай мне терпения. Не дай предателям погубить Россию, не дай им разрушить нашу веру».

Он закрыл дневник, убрал его в свой походный сундук, взял крест, поцеловал его и лёг, не раздеваясь, готовый к новому дню, к новым испытаниям, к новой опасности.

Через неделю армия выступила в поход. На рассвете, когда небо только начинало розоветь на востоке, и первые лучи солнца осветили верхушки деревьев, у походной церкви - деревянной, на колёсах, с небольшим бронзовым куполом, который поблёскивал в утреннем свете, - собрались солдаты. Отец Алексей, тот самый священник из Донской станицы, который был призван в полковые священники, облачился в свои ризы и начал молебен. Он кадил ладаном, и дым, густой и благоуханный, поднимался к небу, смешиваясь с утренним туманом, и казалось, что этот дым, словно невидимая лестница, соединяет землю с небом. Солдаты стояли на коленях в мокрой траве, крестились, молились, и гул их голосов, ржание коней, скрип телег и лязг оружия - всё смешалось в единый, мощный звук, который, казалось, поднимался к самому Богу.

Емельян стоял рядом с Иваном-хохлом, держа шапку в руках, и вглядывался в лицо священника. Он видел, как отец Алексей подошёл к ним, кропил святой водой и говорил, и голос его был громок и ясен:

- Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Идите, братья мои, идите с Богом. Помните слова Господни: «Не бойся, ибо Я с тобой». Защищайте веру православную, защищайте Отечество наше. Не бойтесь врага - он силён, но Господь сильнее его. Идите и побеждайте.

Когда отец Алексей наклонился к Емельяну, их глаза встретились, и священник, узнав его, улыбнулся той тихой, доброй улыбкой, которую Емельян помнил с детства.

- Ты берёшь в бой ту икону, что дала тебе Акси́нья? - спросил он тихо, чтобы никто не слышал, кроме Емельяна. - Ту самую, старую, от её матери?

- Спрятал у сердца, батюшка, - ответил Емельян, и голос его дрогнул от волнения. - Она со мной всегда. Она напоминает мне о доме, о семье, о том, что я воюю не ради царя, не ради славы, а ради веры и земли нашей, ради того, чтобы дети наши жили в мире и покое.

Отец Алексей благословил его, широко, размашисто, и пошёл дальше по строю, к другим солдатам. А из колонны уже доносилось пение псалма, которое подхватывали всё новые и новые голоса:

- «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится...»

Голоса солдат сливались в мощный, величественный хор, и казалось, что даже ветер замолкал, слушая их. Емельян перекрестился, и в его душе, в тот момент, поселилась та тихая, глубокая уверенность, которая всегда появлялась у него перед самым трудным делом. Он шёл за Богом, и это было главное.

Первая ночь в Пруссии, на чужой, незнакомой земле. Западный ветер приносил запах незнакомой травы, незнакомой земли - чужой, но не враждебной, а просто иной, и в этом запахе было что-то тревожное и одновременно манящее. Емельян сидел у небольшого костра, который они зажгли в овражке, чтобы огонь не был виден издалека, и глядел на запад, где небо уже заволокло густыми, тёмными тучами. В руке он держал ту самую икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которую ему подарила Акси́нья перед отъездом. Он трогал лик Богородицы пальцем, гладил потемневшее от времени серебро оклада и шептал, и голос его был тих и печален:

- Матерь Божия, заступница наша, сохрани меня и моих товарищей, не дай нам погибнуть от пули и сабли. И Акси́нью сохрани, и моего сына Ивана, которого я ещё не видел, которого я

знаю только по её рассказам. Пусть он растёт здоровым, сильным, пусть он знает, что его отец воюет не из ненависти, а из любви, из веры, из долга перед Богом и перед Родиной.

Рядом с ним сел Иван-хохол, молча перекрестился на восток, потом посмотрел на Емельяна и спросил, и в голосе его было любопытство и одновременно та серьёзность, которая появляется у людей, когда они говорят о главном:

- Слышь, Емеля, а правда, что немцы тоже христиане? Мой батька говорил мне, что они тоже верят в Иисуса Христа, тоже крестятся, тоже молятся. Так ли это?

- Правда, - ответил Емельян, пряча икону за пазуху, туда, где билось его сердце. - Только они в ересь впали, в заблуждение. Они почитают римского папу, а православная вера наша - иная, истинная. И король их, Фридрих, - безбожник, он не верует в Христа, он презирает веру нашу. Говорят, у него в дворце даже икон нет, только книги Вольтера и картины с голыми женщинами. Мы воюем не против людей, которые молятся, а против бесов, что ими правят.

Иван почесал свой затылок, задумался на мгновение, потом сказал, и в голосе его была та простая, народная мудрость, которую Емельян так ценил в нём:

- Выходит, что мы воюем не против людей, а против тех, кто их обманывает, кто не даёт им жить по-божески. А люди-то такие же, как мы, такие же христиане, может быть, они тоже молятся и хотят мира. Может, они нас поймут, если мы им правду скажем?

Емельян кивнул, закрыл глаза и начал читать Псалом 90, тот самый, который он знал наизусть с детства:

- «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится...»

Иван шептал следом за ним, и оба чувствовали, как страх, который всегда живёт в сердце человека перед лицом смерти, постепенно отступает, уступая место тому глубокому, спокойному миру, который даёт только вера. Война была уже близко, но вера давала им силы идти вперёд, не оглядываясь, не сомневаясь.

Той же ночью, когда костры уже догорали и лагерь погружался в ту тяжёлую, тревожную тишину, которая всегда бывает перед боем, Трубецкой подошёл к тому костру, у которого сидели казаки. Он сел на мокрую, холодную землю рядом с Емельяном, протянул руки к огню, грея их, и долго молчал, глядя на пляшущие языки пламени.

- Берёзов, - сказал он, наконец, и голос его был серьёзен и тих, - я знаю, ты не доверяешь мне. Ты видел, как я спас тебя от порки, но ты не знаешь, кто я на самом деле, зачем я здесь, чего я хочу. Но я скажу тебе правду, ту правду, которую не говорю никому: я - человек веры, как и ты. Мы с тобой за одно, за одно дело, за одну судьбу.

Емельян поднял на него глаза, и в них всё ещё была тень подозрения, та настороженность, которая была свойственна казакам, которые не привыкли доверять людям из высшего общества.

- Ты из князей, я - казак, сын казака, внук казака, - сказал он. - Что нас может объединить, кроме Бога? Мы из разных миров, и в мирное время ты бы не сел рядом со мной у этого костра, ты бы даже не посмотрел в мою сторону.

- Родина, - ответил Трубецкой, и голос его был твёрд, как сталь. - И вера. Я видел, как ты молишься. Ты чище многих офицеров, которые носят золотые кресты на груди, но забывают целовать их. Ты воюешь не ради денег, не ради славы, а потому что веришь, потому что не можешь по-другому. Я уважаю это, Берёзов. Я уважаю тебя за это.

Емельян молчал несколько секунд, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание. Затем он протянул князю свою флягу, простую, из тёмного дерева, с водой:

- Пей, князь, - сказал он. - За Россию. За веру.

Трубецкой взял флягу, сделал глоток, затем перекрестился и вернул её обратно:

- За Россию, - сказал он. - За веру. За всё, что нам дорого.

Они сидели молча, глядя в огонь, пока угли не прогорали и не превращались в серый, холодный пепел. Где-то вдалеке ухала сова, ветер доносил запах дыма и мокрой травы, и в этом

мире, полном страха и неопределённости, они чувствовали, что они не одни, что они вместе идут к одной цели. Они были разными людьми - князь и казак, дворянин и простой воин, - но они были одной армией, одной верой, одной Россией.

Глава 5. Кто такой Фридрих

Потсдам, дворец Сан-Суси, осень тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Осень в тот год выдалась ранней и холодной: виноградники, спускавшиеся террасами к реке Хафель, пожелтели и поредели, и ветер, налетавший с Одера, трепал редкие, уже сухие листья на деревьях, срывая их и унося в тёмную, холодную воду. Дворец Фридриха, этот изящный, лёгкий, почти игрушечный замок, построенный по его собственным чертежам, казался в этот пасмурный день одиноким и печальным, словно он понимал, что его хозяин, великий король Пруссии, стоит на пороге великой беды. Фридрих стоял у высокого окна своего кабинета, глядя на увядающий сад, на голые кусты и мокрые дорожки, по которым уже никто не гулял. В руках он держал флейту, но не играл - пальцы его, тонкие и длинные, безвольно лежали на серебряных клапанах, и инструмент казался мёртвым, ненужным, как всё, что не касалось войны. Он был бледен, лицо его, и без того худое и измождённое, было покрыто серой бледностью, под глазами залегли глубокие тени - король Пруссии не спал уже третью ночь, лихорадочно обдумывая, как выкрутиться из той пропасти, в которую сам себя загнал, как спасти свою армию, свою страну, свою гордыню от той страшной коалиции, которая собралась вокруг него.

На столе перед ним стояла пустая шкатулка из красного дерева, отделанная золотом, - та самая, где ещё месяц назад лежали золотые монеты, предназначенные для подкупа русских генералов, для того чтобы остановить их наступление, чтобы купить время. Теперь там было пусто, и Фридрих не мог отвести взгляда от этой пустоты, которая казалась ему символом его поражения, его бессилия, его унижения.

- Казна пуста, - сказал он, не оборачиваясь к адъютанту, который стоял в дверях, бледный и испуганный, и ждал приказов. - Мы печатаем фальшивые ассигнации, но купцы уже научились их отличать. Наши агенты сообщают, что в Амстердаме и Гамбурге наши деньги не принимают, их возвращают, как возвращают фальшивые монеты. Напиши Лестоку в Петербург, пусть торопит Апраксина, пусть делает всё, чтобы русские не двигались. Мы платим ему за медлительность, а он медлит слишком хорошо, слишком долго. Если он будет тянуть резину вечно, мы проиграем войну, мы потеряем всё, и тогда никто не спасёт нас.

Адъютант, молодой капитан с бледным, испуганным лицом, склонил голову, но медлил с ответом. Он переступил с ноги на ногу, затем, собравшись с духом, осмелился сказать:

- Сир, Апраксин требует ещё денег. Он прислал курьера с письмом: говорит, что без дополнительного финансирования не сможет задержать наступление дольше, чем на месяц. Он хочет ещё десять тысяч талеров, сир. Он говорит, что его генералы тоже хотят получить свою долю, иначе они откажутся выполнять его приказы.

Фридрих резко повернулся, и на его лице, мгновение назад мрачном и задумчивом, появилась та кривая, презрительная усмешка, которая всегда появлялась у него, когда он чувствовал своё превосходство над другими. Он бросил флейту на диван, где она звякнула о деревянную обивку, и подошёл к столу, на котором лежали пачки свежотпечатанных ассигнаций - стопки бумаги, которые выглядели как настоящие деньги, но были лишь искусной подделкой, плодом работы лучших гравёров, которых он смог найти в Европе.

- Десять тысяч? - переспросил он, и в голосе его слышалась та холодная, ядовитая насмешка, которая была свойственна ему, когда он говорил о своих врагах. - Десять тысяч для этого толстого, жадного медведя? Дай ему эти, - он взял пачку фальшивых бумаг и протянул их адъютанту. - Пусть звенят, пусть он радуется, пока не поймёт, что они ничего не стоят. Он не отличит настоящие деньги от фальшивых - он тупой и жадный, как все эти русские медведи, которые молятся своим иконам и верят, что Бог на их стороне. Но Бога нет, капитан. Есть

только сила и деньги. И если у нас нет денег, у нас есть хитрость. Мы обманем их всех, и они никогда не узнают правды.

Он подошёл к камину, где дрова уже прогорели, оставляя только красные, тлеющие угли, которые слабо освещали комнату. На каминной полке лежал серебряный крест - трофей, отнятый у русского офицера, убитого в одном из стычек у границы. Крест был старый, с потёртой поверхностью, с выщербленными краями, и на нём, если присмотреться, можно было увидеть едва заметные следы от пальцев, которые касались его в молитве. Фридрих взял его в руки, посмотрел на распятие, на тусклый, потемневший металл, и его лицо исказилось гримасой отвращения. Он размахнулся и швырнул крест в камин, в самую золу, где он упал среди остывающих углей, и лёгкий, тонкий дымок поднялся вверх, словно последний вздох.

- Пусть горит в аду вместе с их верой, - сказал он, отвернувшись от камина, и в голосе его была та холодная, ледяная пустота, которая всегда появлялась у него, когда он говорил о религии. - Мы не нуждаемся в этом суеверии, в этих глупых обрядах, в этих иконах и крестах. Мы - просвещённые люди, мы знаем, что мир устроен не молитвами, а разумом и силой. И мы победим, потому что мы умнее их, потому что мы не тратим время на глупые молитвы.

Адъютант молчал, пряча глаза, и в душе его поднимался тот тихий, невысказанный страх, который он испытывал всякий раз, когда видел, как его король глумится над святынями. Он знал, что король ошибается, что есть вещи, которые сильнее золота и разума, но он не смел перечить, ибо знал, что Фридрих не терпит возражений. Он молча поклонился, принял фальшивые деньги и вышел из кабинета, оставляя короля одного с его пустотой и его гордыней.

Петербург, кабинет Бестужева, та же осень. В этот вечер за окнами выла метель, и снег, крупный и колючий, бил в стёкла, залепляя их белой пеленой, так что казалось, что город, весь Петербург, провалился в безмолвную, ледяную пустоту. Канцлер сидел за своим массивным столом, заваленным бумагами, и изучал досье на Фридриха, которое составил Трубецкой и которое только что было доставлено в Зимний дворец. В досье были перехваченные письма, доносы агентов, записки о том, что прусский король публично высмеивает религию, называет православных «варварами с иконами» и гордится своим безбожием, считая веру уделом слабых и невежественных людей. Бестужев перелистывал страницы, и лицо его мрачнело с каждой новой строкой, с каждым новым свидетельством той глубокой, ледяной ненависти, которую король Пруссии питал к России и к её вере.

- Господи, - прошептал он, поднимая глаза к иконе Спаса, которая висела в углу, и голос его дрожал от волнения, - прости ему, ибо не ведает, что творит. Он слеп, он не видит истины, он не знает, что такое настоящая вера, что такое любовь и смирение. Он не знает, что без Бога человек слаб, что без веры его душа пуста и никчёмна. Но мы знаем, мы, православные, знаем, что кто поднимает руку на веру, тот будет посрамлён. И я молюсь, чтобы Господь вразумил его, чтобы Он открыл ему глаза и показал ему истину. А если он не хочет видеть, пусть он будет наказан по делам своим.

Он перекрестился, подозвал секретаря, который ждал у дверей, и протянул ему тяжёлую папку с досье.

- Отправь это в армию Трубецкому, - сказал он, и голос его был твёрд и серьёзен. - Пусть знает, с кем имеет дело, пусть знает, что враг наш не просто силён, но и безбожен. Фридрих - как бес, как дьявол: хитрый, голодный, жадный, но без Бога. А без Бога, без веры, без страха Божия, он слаб, сколько бы фальшивых монет он ни печатал, сколько бы армий ни собирал. Мы же сильны верой, и это наша главная сила. Напиши также, что я верю в него, в Трубецкого, верю, что он найдёт предателя, что он не даст предателям погубить Россию.

Секретарь поклонился, принял папку и вышел. Бестужев остался один, снова перекрестился и надолго замер перед иконой, молясь о России, о её армии, о её народе, о том, чтобы Господь не оставил их в эту тяжёлую годину.

Дон, станица Берёзовская, то же воскресное утро. Зима в тот год пришла рано, и мороз стоял такой, что деревья трещали, и пар клубился изо рта у людей, когда они шли в церковь. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, старая, деревянная, с облупившимся куполом, стояла в центре станицы, и звон её колокола разносился далеко по степи, сзывая верующих на утреннюю службу. Акси́нья стояла у иконы Богородицы, держа на руках маленького Ивана, который уже начал улыбаться и тянуть свои маленькие ручки к лику святой, словно чувствуя ту благодать, которая исходила от иконы. Она была в тёмном, шерстяном платке, лицо её было бледным, но глаза, большие и глубокие, горели той верой, которая помогала ей ждать и надеяться. Рядом с ней стоял старый Иван, опираясь на свой потёртый костыль. Он уже не мог стоять ровно, спина его была согблена, и руки дрожали, но он был здесь, в церкви, потому что вера была его опорой, его единственной силой в этой жизни.

Отец Алексей вышел из алтаря, держа Евангелие в руках, и начал службу. Когда он прочитал ту главу от Матфея, где сказано: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», он закрыл книгу, поднял глаза на прихожан и обратился к ним, и голос его звучал ровно и твёрдо:

- Братья и сестры мои, возлюбленные о Господе! Враг идёт на нашу землю, и враг этот не просто силен, он безбожен. Прусский король, Фридрих, хочет попать нашу веру, наши обычаи, нашу свободу. Он не верит в Бога, он смеётся над святынями, он считает нас варварами. Но не бойтесь, не бойтесь, ибо Господь сильнее всех врагов, сильнее всех безбожников. Молитесь за наших воинов, за Емельяна, за всех, кто защищает православную веру. Пусть ваши молитвы будут их щитом и мечом, пусть ваши молитвы защитят их от пули и сабли.

Акси́нья прижала к себе сына, и он, словно чувствуя её тревогу, затих и прижался к её груди. Она прошептала, и голос её был тих, но твёрд:

- Господи, сохрани его, сохрани Емельяна, сохрани всех наших воинов. Дай им сил и веры, дай им мужества и терпения. Не дай им погибнуть в чужой земле, не дай им погибнуть без покаяния.

Дед Иван перекрестился широко, размашисто, как это делали его деды, и посмотрел на икону Николая Угодника, который почитался покровителем казаков. Он знал, что война уже близко, что его внук уже там, на границе, готовится к битве, и он верил, что Господь защитит его, как защищал всех их предков.

Рига, казарма. Поздний вечер был тихим и холодным - только ветер завывал за стенами, да коптилка, стоявшая на столе, шипела и разбрасывала тени по комнате, делая её похожей на пещеру, где собрались дикие звери. Емельян сидел на деревянных нарах, перебирая чётки, которые дал ему Иван-хохол. Его пальцы, грубые и мозолистые, скользили по деревянным бусинам, и он считал молитвы, прося у Господа защиты и сил для себя и для своих товарищей. Рядом с ним лежало Евангелие, открытое на псалме 90, который он любил читать перед сном, ибо в этих словах была та глубокая, успокаивающая сила, которая помогала ему заснуть и не бояться того, что ждёт его завтра.

- «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится...», - читал он вслух, и голос его звучал ровно, без дрожи, как у человека, который уверен в своей вере и не боится смерти.

Иван сидел рядом, слушал его и шевелил губами, повторяя слова про себя. Другие солдаты, слыша его голос, подходили, садились на нары и слушали, кто-то крестился, кто-то закрывал глаза и погружался в тихую, глубокую молитву. В казарме было тихо, только коптилка шипела, да слышно было, как где-то на улице ветер гонит сухие листья.

Закончив читать, Емельян закрыл книгу и сказал, и голос его был серьёзен и спокоен:

- Дед мой, Иван, говорил мне, когда я был маленьким: «Фридрих - лиса, а лису бьют капканом. Капкан наш - правда Божия, наша вера. Мы воюем за веру, за детей, за берёзы, за ту землю, которую нам завещали предки. А он воюет за своё брюхо, за золото, за славу, за свою

гордыню. Поэтому мы сильнее, потому что правда на нашей стороне». Я верю в это, верю всем сердцем. Мы сильнее, потому что с нами Бог, потому что мы не боимся смерти, ибо знаем, что смерть - это только переход в жизнь вечную.

Солдаты перекрестились, кто-то прошептал «Аминь», и в этом простом слове было больше силы, чем во всех фальшивых ассигнациях Фридриха, чем во всех его армиях, чем во всей его хитрости. Емельян убрал чётки за пазуху, лёг на нары, закрыл глаза и начал молиться, и его молитва, тихая и искренняя, поднималась к небу, к Богу, который был его защитником и его надеждой.

Вена, императорский дворец, та же осень. Мария Терезия стояла на коленях в своей частной часовне, перед большим, позолоченным распятием, украшенным драгоценными камнями, которые мерцали в свете свечей. Она молилась, и голос её был тихим, но настойчивым, как у человека, который привык получать то, что просит. Рядом с ней стоял её духовник, старый монах в чёрной рясе, и тихо читал молитвы, но императрица не слышала его - она была погружена в свой разговор с Богом.

- Господи, Господи, - шептала она, и лицо её было бледно и сосредоточенно, - верни мне Силезию, верни мне то, что принадлежит мне по праву, по праву моего отца, по праву моих предков. Эти земли были украдены у меня этим безбожником, этим Фридрихом, и я не успокоюсь, пока не верну их. Пусть русские прольют кровь за мою землю, пусть австрийские солдаты сразятся за мою честь. Я готова сделать всё, чтобы вернуть то, что у меня отняли, и Ты, Господи, должен помочь мне в этом.

Она встала с колен, перекрестилась и подошла к столу, на котором лежало письмо, адресованное русской императрице. В нём она требовала немедленного наступления, почти приказывала, как будто имела право командовать русской армией, как будто Россия была её вассалом. Она не знала, не хотела знать, что русские воюют не за неё, не за её Силезию, а за свою веру, за свою землю, за свою свободу. Она не знала, что её высокомерие, её гордыня будет наказана, что её союзники, на которых она так рассчитывала, могут предать её в любой момент. Но она верила, верила искренне и глубоко, что Бог католиков, истинный Бог, - на её стороне, и это давало ей силы диктовать свои условия и требовать от других того, чего они не были должны ей.

Петербург, Зимний дворец. Елизавета сидела в своём кабинете, держа в руках письмо Марии Терезии, которое только что было доставлено с курьером из Вены. Её лицо было хмурым, брови нахмурены, и она перечитывала письмо уже во второй раз, и с каждым разом её раздражение росло. Она была одета в простое, тёмное платье, без украшений, и лишь на шее висел старый, потемневший крест, который она не снимала никогда.

- Она торопит нас, как холопов, как своих слуг, - сказала она Бестужеву, который стоял напротив, скрестив руки на груди. - Она думает, что мы её наёмники, её таран, которым она протаранит прусские стены. Мы для неё - пушечное мясо, не больше. Но мы сами решаем, когда идти, мы сами решаем, как воевать. Я не позволю ей указывать мне, как править Россией, я не позволю ей командовать мной.

Бестужев кивнул, и в его глазах мелькнула та тень уважения, которую он испытывал к императрице, когда она проявляла свою твёрдость.

- Ваше Величество, - сказал он, и голос его был спокоен, - мы воюем за свои интересы, за свою безопасность. И за веру, за ту православную веру, которую попирает этот безбожник Фридрих. Пусть австрийцы думают, что мы их таран, что мы воюем за них. Мы пойдём, но когда мы решим, и никто не укажет нам, когда выступать. Мы никому не позволим управлять нами.

Елизавета поднялась, подошла к иконе Казанской Божией Матери, стоявшей в углу, и перекрестилась широко, размашисто. Она прошептала, и голос её был тих, но твёрд:

- Господи, дай нам мудрости, дай нам терпения. Не дай нам сбиться с пути, не дай нам поддаться гордыне. Пусть Россия выстоит, несмотря на все интриги, несмотря на все предательства, несмотря на всех врагов, которые окружают нас.

За окнами выла метель, и снег, кружась, заметал улицы Петербурга, превращая город в белую, безмолвную пустыню. Война приближалась, но в сердце императрицы жила та глубокая, искренняя вера, что Россия выстоит, что она победит, что Господь не оставит её в эту тяжёлую годину. И эта вера была не просто убеждением - она была её опорой, её силой, её единственным спасением.

Глава 6. Цена войны

Петербург, Госсовет, декабрь тысяча семьсот пятьдесят шестого года. Зимний дворец в тот вечер казался огромным, холодным склепом, где вместо мёртвых лежали живые люди, застывшие в своих мундирах и орденах. Зал заседаний Госсовета был залит светом сотен свечей, горевших в тяжёлых серебряных канделябрах, но этот свет не делал его тёплым - сквозь высокие, стрельчатые окна, затянутые толстым слоем инея, пробивался тот ледяной, белый свет петербургской зимы, который, казалось, проникал в самую душу. Министры сидели в шубах и шинелях, которые не снимали даже в помещении, ибо мороз был таким лютым, что даже камин, топившийся с утра, не могли согреть этот огромный, мраморный зал. За окнами выла метель, и снег, крупный и колючий, бил в стёкла, закрывая вид на заснеженный Петербург, на Неву, скованную льдом, на тёмное, низкое небо, которое, казалось, давило на город своей тяжестью. За длинным столом, покрытым зелёным сукном, сидели сановники империи: канцлер Бестужев, граф Лесток, братья Шуваловы, Воронцов, другие вельможи, чьи имена гремели по всей России. Перед каждым из них лежали толстые папки со сметами, расчётами, докладными записками, и на лицах министров застыло то напряжение, которое бывает у людей, знающих, что сегодня решается судьба не только войны, но и всей страны, всей России.

Бестужев и Лесток сидели напротив друг друга, но не смотрели один на другого. Их взгляды, холодные и оценивающие, встречались только тогда, когда они обращались к императрице, которая сидела во главе стола, в высоком, резном кресле, обитом малиновым бархатом. Елизавета была бледна, под глазами залегли глубокие тени - она не спала всю ночь, молясь перед иконой Казанской Божией Матери, той самой, которая, по её вере, защищала Россию от всех врагов. Её пальцы, унизанные тяжёлыми кольцами, дрожали, и она то и дело теребила кружевной воротник, пытаясь успокоиться, пытаясь скрыть от министров тот страх, который жил в её сердце.

Бестужев поднялся первым, опираясь на руки о стол, и его голос, обычно спокойный и ровный, сегодня звучал твёрже, чем обычно, и в этом голосе чувствовалась та стальная решимость, которая появлялась у него только в минуты величайшей опасности:

- Ваше Величество, господа министры, война требует денег. Мы должны содержать армию, закупать оружие и провиант, платить жалованье солдатам, строить укрепления. Казна пуста, это знают все. Но отступление обойдётся нам дороже, во сто крат дороже, ибо мы потеряем доверие союзников, потеряем земли, потеряем честь. Мы обязаны воевать, господа, обязаны продолжать эту войну, ибо если мы остановимся сейчас, Фридрих поймёт, что мы слабы, что мы боимся, и ударит с удвоенной силой. Он раздавит нас, как раздавливают слабого зверя. Мы должны найти деньги, должны найти ресурсы, даже если для этого нам придётся заложить последние драгоценности из императорской казны.

Лесток тут же вскочил, и его голос, тонкий и звонкий, как натянутая струна, пронёсся по залу, перекрывая гул голосов:

- Воевать? Чем воевать, позвольте спросить, ваше сиятельство? Казна пуста, я повторяю это в который раз! За последние месяцы армия съела провиант на два года вперёд, истребила запасы, которые копились десятилетиями. Мы печатаем фальшивые деньги, чтобы пла-

тить солдатам, и это уже известно купцам, это уже известно всей Европе. Если мы продолжим в том же духе, если мы будем кормить эту ненасытную армию, через год мы будем банкротами, мы будем нищими на мировой арене. Мы потеряем не только войну, мы потеряем саму Россию, ибо народ наш, и без того угнетённый, не выдержит такого бремени. Я требую мира, Ваше Величество, я требую немедленных переговоров с Фридрихом, пока ещё есть что спасти.

Министры зашептались, переглядываясь, и в этом шёпоте слышались и страх, и растерянность, и та скрытая, подспудная борьба, которая всегда шла между сторонниками мира и сторонниками войны. Кто-то качал головой, кто-то одобрительно кивал, и в этом хаосе голосов и мнений Елизавета подняла свою руку, тонкую и бледную, и в зале воцарилась та глубокая, звенящая тишина, которая бывает только тогда, когда говорит императрица. Она смотрела на министров, и в её глазах были слёзы, но голос её, хотя и дрожал, был твёрдым и ясным:

- Я не хочу разорять Россию, я не хочу, чтобы народ наш нищенствовал и голодал. Но я не хочу, чтобы наши православные храмы попирали иноверцы, чтобы наши святыни были осквернены, чтобы наши иконы сжигали, как сжигают их сейчас в Пруссии. Мы воюем за веру, за нашу землю, за наши обычаи. Мы воюем за то, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире и покое. Найдите деньги, господа министры. Даже если придётся взять в долг у монастырей, у церквей, у самого Патриарха - сделайте это. Я не позволю врагу победить нас, я не позволю безбожнику Фридриху разрушить нашу веру и нашу страну.

Она встала, и все министры, как один, тоже поднялись со своих мест, склоняя головы перед своей императрицей. Елизавета вышла из зала, и за ней, как тень, последовал её придворный, и дверь закрылась за ней с глухим, тяжёлым стуком. Бестужев, оставшись один среди министров, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, чувствуя, как усталость наваливается на него, как тяжесть этой войны, этой ответственности, этой борьбы давит на его плечи. Он победил в этом споре, он заставил Лестока замолчать, но цена этой победы была огромна - вся казна, все ресурсы страны уходили на войну. Он понимал, что это может погубить Россию, что это может привести к бунтам и мятежам, но другого выхода не было.

Петербург, церковь Спаса на Крови, поздний вечер того же дня. Внутри храма было тихо и безлюдно, только лампы, мерца, отбрасывали жёлтый, трепетный свет на старые, потемневшие иконы, и запах ладана смешивался с холодным, морозным воздухом, проникавшим сквозь щели в старых дверях. Князь Александр Трубецкой стоял на коленях перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и его губы, сухие и потрескавшиеся от холода, шевелились в беззвучной молитве. Рядом с ним стояла Мария Хованская, его невеста, в тёмном, тёплом платье, держа в руках тонкую восковую свечу, которая горела ровным, спокойным пламенем. Огонёк свечи трепетал от её дыхания, отбрасывая тени на её бледное, испуганное лицо.

- Господи, - шептал Трубецкой, и голос его, тихий и сдавленный, звучал в тишине храма, - я еду в армию, я еду туда, где меня ждёт смерть. Я не знаю, вернусь ли я, но я знаю, что должен идти, ибо там, в армии, решается судьба России. Если я погибну, если я умру на этой войне, прими мою душу, Господи, прости мне мои грехи и даруй мне покой. Если я останусь жив, я построю храм в честь Твоей Победы, я посвящу свою жизнь служению Тебе и России. Дай мне сил обличить предателей, дай мне сил защитить нашу веру, дай мне сил не сломаться под тяжестью этого креста.

Мария положила свою руку на его плечо, и её голос, тихий, но полный той искренней веры, которая была свойственна этой женщине, прошептала ему на ухо:

- Саша, я буду молиться за тебя каждый день, я буду ждать тебя, сколько бы времени ни прошло. Иди с Богом, иди с верой. Ты справишься, я знаю, что ты справишься. Ты - Трубецкой, ты - Берёзов, и твой род силен верой, силен той силой, которая передаётся от отца к сыну, от деда к внуку. Ты победишь, я верю в это.

Трубецкой поднялся с колен, поцеловал икону, приложившись к ней губами, затем обнял Марию, прижимая её к себе, чувствуя, как её тело дрожит от холода и от волнения.

- Береги себя, - сказал он, и голос его был хриплым от волнения. - Если Лесток узнает, что ты брала письма из его дома, он не остановится ни перед чем. Ты в опасности, Мари, ты в смертельной опасности. Если что-то случится со мной, беги, спрячься, уезжай в деревню, только не дай ему схватить тебя.

- Я не боюсь, - ответила она, и в её голосе была та стальная, непоколебимая твёрдость, которая появляется у людей, когда они знают, что правда на их стороне. - Я верю, что Бог защитит меня. Он защищал наших предков, защитит и нас. Я не отступлю, Саша, я не буду прятаться. Я буду ждать тебя.

Они вышли из церкви, и снег, скрипя, захрустел под их ногами. Над Петербургом, над заснеженными крышами и куполами, сияло звёздное небо, и Трубецкой, подняв голову, посмотрел на Полярную звезду, которая горела на севере, как путеводный огонь. Он знал, что его путь лежит на запад, туда, где его ждёт война, предательство и, возможно, смерть. Но он шёл с верой, и эта вера была его единственным оружием и его единственной защитой.

Дон, станица Берёзовская, Рождественский сочельник. В избе было тепло и уютно, так уютно, как бывает только в казачьих домах, где печь гудит и разбрасывает искры, распространяя запах свежее испечённого хлеба и пирогов с калиной. Акси́нья сидела у печи, держа на руках младенца Ивана, который спал, причмокивая во сне и иногда улыбаясь, словно видел что-то хорошее. Она была бледна, устала от бессонных ночей, но в глазах её, глубоких и тёмных, светила та надежда, которая помогает людям ждать и верить. Старый Иван сидел у окна, смотрел на берёзы, покрытые белым, пушистым снегом, которые стояли в этом безмолвном, ледяном мире, и молчал, и в этом молчании было всё его терпение и вся его вера. На столе горела свеча, и её жёлтый, трепетный свет отражался в маленькой иконе Николая Угодника, которая стояла в красном углу.

В церкви уже звонили колокола, созывая на всенощную, и звон этот, глухой и торжественный, разносился над станицей, над степью, над всем этим белым, замёрзшим миром. Акси́нья взяла ребёнка, закутала его в тёплую, шерстяную шаль, которая когда-то принадлежала её матери, и вышла на улицу. Снег хрустел под её ногами, и она шла к храму, чувствуя, как мороз кусает её щёки, как холод проникает под шаль, но она не обращала на это внимания. В церкви было многолюдно - казачки в тёмных платках, старики, дети, все ждали праздника, но в глазах у всех была тревога, и все думали о войне, о мужьях, братьях, сыновьях, которые ушли на фронт.

Отец Алексей вышел из алтаря, держа в руках крест, кропил народ святой водой и говорил, и голос его, хотя и звучал торжественно, был печален:

- Рождество Христово - праздник мира, праздник любви и прощения. Но мы воюем, братья и сёстры, мы воюем, чтобы этот мир сохранить, чтобы наши дети могли жить в мире и покое. Молитесь за воинов, за Емельяна, за всех, кто защищает нашу веру и нашу землю. Молитесь, чтобы Господь даровал им силы и победу.

Акси́нья закрыла глаза, прижала к себе сына и прошептала, и голос её был тих, но твёрд:

- Господи, дай ему сил, дай ему мужества, дай ему терпения. Спаси его и сохрани от пули и сабли. Пусть он вернётся к нам живым и здоровым, пусть он увидит, как растёт наш сын, пусть он увидит, как цветут берёзы на Дону.

Когда служба закончилась, она вышла из церкви и посмотрела на звёздное небо, где Рождественская звезда, яркая и большая, сияла над станицей. Дед Иван подошёл к ней, опираясь на свой костыль, и молча сел на лавку у церковной ограды, тяжело дыша от мороза и усталости.

- Дед, - сказала Акси́нья, и голос её дрожал, - а он вернётся? Он вернётся к нам?

Старик долго молчал, глядя на звёзды, на ту самую звезду, которая когда-то указывала путь волхвам. Затем его голос, хриплый, но уверенный, как у человека, прошедшего через многое, ответил:

- Вернётся, Аксинья, вернётся. Я с турками воевал, я видел смерть, я смотрел ей в глаза, и Господь хранил меня, хотя я был молод и глуп. Берёзовы живучие, мы - как корни старого дерева, которые уходят глубоко в землю. А корни не вырвать, корни не сломать. Он вернётся, Аксинья. Ты только верь, верь и молись, и Господь услышит твои молитвы.

Армия на зимних квартирах в Курляндии, февраль тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Снег лежал по колено, и мороз был таким лютым, что даже тулупы, толстые и меховые, не спасали от этого пронизывающего холода, который, казалось, проникал в самые кости. Емельян сидел в тесной, низкой землянке, которая была вырыта в склоне холма, и грел руки над жаровней, в которой тлели красные, горячие угли. Рядом с ним сидел Иван-хохол, читая по складам Евангелие, которое Емельян принёс с собой из дома, и его голос, тихий и спокойный, звучал в этом убогом, холодном жилище, как голос надежды.

- «...Ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них», - читал Иван, и в голосе его чувствовалась та глубокая, детская вера, которая помогала ему не отчаиваться даже в самые трудные моменты.

Емельян перекрестился и посмотрел на икону Божией Матери, ту самую, которую дала ему Аксинья перед отъездом, и которая была с ним всё это время. Он трогал пальцами её потемневший лик, гладил потёртый, серебряный оклад и шептал, и голос его был тих, но полон любви и надежды:

- Мать Божия, заступница наша, помоги нам, помоги нам выстоять в этой мясорубке, в этой страшной войне. Сохрани моих товарищей, сохрани меня, чтобы я мог вернуться к семье, к Аксинье, к моему сыну Ивану, которого я ещё не видел. Дай нам сил и терпения, дай нам веры и надежды.

В землянку, стряхивая снег, вошёл Трубецкой. Он был бледен, под глазами залегли глубокие тени - князь не спал уже несколько ночей, пытаясь найти доказательства измены, пытаясь понять, кто из генералов продаёт армию пруссакам. Он подошёл к жаровне, протянул руки к огню, и долго молчал, грея замёрзшие пальцы.

- Берёзов, - сказал он, наконец, и голос его был серьёзен и тих, - я получил письмо из Петербурга, от Бестужева. Он пишет, что Апраксин задерживает наступление, что он саботирует приказы, что он не двигается. Он взял золото от немцев, я знаю это, но доказательств нет. Если мы не остановим его, он погубит армию, он погубит Россию. Я должен знать, что происходит в штабе.

Емельян поднял глаза на князя, и в них была та решимость, которая появляется у человека, когда он понимает, что на него возложена ответственность за судьбу других.

- Князь, - сказал он, - что ты хочешь от меня? Я всего лишь казак, я не генерал и не дипломат.

- Ты - мои глаза и уши в этом лагере, - ответил Трубецкой. - Следи за Апраксиным, следи за тем, с кем он встречается, что он говорит, что делает. Если увидишь, что он передаёт что-то немцам, или встретится с кем-то из их агентов, или будет говорить по-немецки с незнакомыми людьми - скажи мне. Это наша земля, Берёзов, наша вера. Мы не можем позволить предателям её погубить.

Емельян молчал несколько секунд, и в его душе боролись страх и долг. Затем он кивнул и сказал, и голос его был твёрд:

- Сделаю, князь. Ради Бога, ради России, ради моей семьи. Я буду следить и буду тебе докладывать.

Петербург, кабинет Бестужева, та же ночь. Канцлер сидел при свечах, и их жёлтый, трепетный свет освещал его лицо, измождённое и усталое. В руках он перебирал чётки, старые,

потёртые, которые когда-то принадлежали его матери, и его пальцы, сухие и старческие, скользили по деревянным бусинам, успокаивая его и возвращая ту внутреннюю тишину, которая была так нужна ему перед принятием важного решения. Перед ним на столе лежало только что перехваченное письмо Лестока к Фридриху, и в нём граф, этот ловкий царедворец, который так умел притворяться другом императрицы, обещал «сделать всё, чтобы русская армия не дошла до Берлина». Бестужев перечитал письмо трижды, и в душе его нарастал тот холодный, ледяной гнев, который смешивался с тоской и отчаянием.

Он положил письмо на стол, взял крест, старый, потемневший от времени, и поцеловал его, и голос его, тихий и сдавленный, звучал в тишине кабинета:

- Господи, дай нам силы обличить это зло, дай нам мудрости и терпения. Лесток - иуда, он предаёт не только армию, он предаёт веру, он предаёт Россию. Но мы не можем действовать в открытую, мы не можем просто схватить его и казнить, ибо у нас нет прямых доказательств, и он скажет, что это подделка. Мы должны устроить ловушку, мы должны поймать его на месте преступления, чтобы он не смог отпереться.

Он позвонил в серебряный колокольчик, стоявший на столе, и в кабинет вошёл его секретарь, молодой человек с бледным, испуганным лицом.

- Вызови князя Трубецкого, - приказал Бестужев, и голос его был твёрд и резок. - Срочно, немедленно. Пусть он готовит ловушку. Мы должны поймать Лестока с поличным, мы должны сделать так, чтобы он выдал себя прилюдно. Время не ждёт.

Секретарь поклонился и вышел. Бестужев снова перекрестился, глядя на икону Спаса, висевшую в углу, и чувствовал, как вера, та глубокая, искренняя вера, которая была его опорой всю жизнь, наполняет его силой и решимостью.

Дон, станица Берёзовская, конец февраля тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Зима в тот год была лютая, и морозы стояли такие, что даже старики не помнили подобных. Акси́нья стояла у той самой берёзы, на которой дед Иван когда-то прибил небольшую икону Спаса, чтобы защищать дом от бед и напастей. Снег хрустел под её ногами, ветер завывал в голых ветвях, но она не чувствовала холода - она держала в руках письмо от Емельяна, которое пришло с оказией, и перечитывала его снова и снова, и слёзы, горячие и солёные, текли по её щекам, замерзая на морозе:

«Акси́нья, моя родная, моя любимая, я жив. Зима лютая, но мы держимся, мы не сдаёмся. Я молюсь за вас каждый день, за тебя, за нашего сына, за деда Ивана. Сын мой, Иван, растёт? Как он там? Береги его, учи его вере, учи его любить Бога и Россию. Наша берёза выстоит, как выстоим мы, как выстоит наша вера. Я вернусь, Акси́нья, я обязательно вернусь. Целую тебя, целую нашего сына. Емельян».

Она прижала письмо к своей груди, затем к иконе Спаса, которая висела на берёзе, и прошептала, и голос её был тих, но полон той глубокой, материнской веры, которая движет миром:

- Господи, спаси его, сохрани его для нас, для нашего сына, для нашей берёзы. Дай ему сил и мужества, дай ему терпения и веры. Пусть он вернётся домой, пусть он увидит, как растёт наш Иван, пусть он увидит, как цветут берёзы на Дону.

За её спиной послышался плач ребёнка - маленький Иван проснулся в избе и звал мать. Акси́нья улыбнулась сквозь слёзы, спрятала письмо у сердца, туда, где билось её испуганное, но полное надежды сердце, и пошла в избу. Вьюга завывала за окнами, и снег заметал следы, но в её душе жила та глубокая, непоколебимая вера, что Господь не оставит их, что он защитит их от всех бед и напастей. Берёза стояла в снегу, и её ветви, тонкие и белые, тянулись к небу, словно руки, воздетые в молитве. И казалось, что даже ветер, завывая и кружась над станицей, повторяет эти слова: «Берёзовы выстоят. Россия выстоит».

Петербург, Зимний дворец, январь тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Утро того дня было морозным и ясным, таким, когда солнце, ещё низкое и бледное, поднимается над городом, и снег, искрясь, переливается миллионами бриллиантов, и колокола всех церквей, которых в Петербурге было множество, начинали свой утренний перезвон, возвещая начало нового дня. В императорском кабинете, где пахло воском и сухими травами, которые развешивали по углам для благоухания, Елизавета стояла на коленях перед иконой Казанской Божией Матери, той самой, которая была её главной святыней, ибо она верила, что эта икона, явленная в Казани, уже не раз спасала Россию от нашествий. Лампада, горевшая перед иконой, отбрасывала жёлтый, трепетный свет на золотой оклад, и казалось, что сама Богородица смотрит на императрицу с этой старой, потемневшей доски, и в этом взгляде была та тихая, всепрощающая любовь, которая давала ей силы жить и править.

В руках Елизавета держала манифест о вступлении России в Семилетнюю войну - лист плотной, белой бумаги, ещё не подписанный, но уже готовый, с текстом, который она перечитывала и переписывала много раз, ибо каждое слово должно было быть взвешено и продумано. Она перечитывала его шёпотом, и голос её, тихий и дрожащий, звучал в этой торжественной тишине:

«Мы, Елизавета Петровна, Божией милостью императрица и самодержица всероссийская, объявляем верным нашим подданным: враг веры православной и нашей земли, король Прусский Фридрих, поднял оружие против нас, нечестием своим попирая святыни наши и гордыней своей угрожая пределам государства Российского. Мы идём защищать наши границы, наши храмы, наши семьи, нашу веру, которую передали нам отцы наши. Да хранит нас Господь, да будет воля Его».

Она поднесла гусиное перо к бумаге, но рука её дрожала так сильно, что чернила могли растечься, и она остановилась, боясь испортить этот важный документ. Рядом с ней стоял Бестужев, его лицо было бледным, но в глазах его горела та стальная решимость, которая помогала ему выдерживать все испытания. Он молчал, давая императрице время собраться с духом, и в этом молчании было всё его терпение и вся его вера в то, что она сделает правильный выбор.

- Ваше Величество, - сказал он наконец, и голос его был тих, но твёрд, - вы приняли правильное решение. Я знаю, как тяжело вам, но война неизбежна, и мы должны быть готовы. Россия не может отступать перед врагом, который посягает на её веру и земли. Если мы отступим сейчас, если мы проявим слабость, мы потеряем всё, что создавали веками. Господь видит вашу душу, Ваше Величество, и Он благословит вас за этот шаг.

Елизавета подняла на него глаза, и в них были слёзы, но голос её, хотя и дрожал, был твёрд:

- Я боюсь, Алексей Петрович, я боюсь за Россию, боюсь за себя, боюсь за нашу веру. Мне страшно, что я могу погубить всё, что создал мой отец, что я не справлюсь с этой тяжестью. Но Господь с нами, я верю в это, и я знаю, что Он не оставит нас. Я верю, что Богородица защитит Россию от всех врагов.

Она перекрестилась широко, размахисто, приложилась к иконе, затем взяла перо и поставила подпись. Перо скрипнуло, и чернила легли на бумагу ровной, чёткой линией. Она отбросила перо на стол, поцеловала крест, который висел на её шее, и повернулась к окну. За ним, заснеженный Петербург, просыпался под звон колоколов, и тысячи церковных куполов, покрытых инеем, сверкали на утреннем солнце, словно драгоценные короны. Елизавета чувствовала, как страх отступает из её сердца, уступая место той глубокой, спокойной вере, которая была её опорой всю жизнь. Война была объявлена, и теперь оставалось только ждать, что принесёт ей судьба.

Санкт-Петербург, площадь перед Казанским собором, тот же день, к полудню. Собрались тысячи людей - дворяне в дорогих шубах и собольих шапках, купцы в добротных кафтанах, ремесленники в простых зипунах, крестьяне, пришедшие из окрестных деревень, и даже

нищие, которые, казалось, забыли о своей нужде, слушая гул голосов и звон колоколов. Морозный воздух был наполнен паром от дыхания, и над толпой поднималось густое облако, словно сама земля дышала этим морозным утром. В центре площади стоял священник в золотых ризах, которые сверкали на солнце, и в руках он держал крест, украшенный драгоценными камнями, и свиток с манифестом, который только что был подписан императрицей. Он читал его вслух, и голос его, усиленный морозным воздухом и тишиной огромной толпы, разносился над площадью, над куполами собора, над всем этим заснеженным городом:

- Братья и сёстры! Враг стучится в наши ворота, враг жестокий и безбожный. Прусский король, Фридрих, который не верит в Бога, хочет попать нашу веру православную, разрушить наши храмы, осквернить наши святыни, поработить наш народ, обратив его в рабство. Но мы, народ православный, народ, который веками стоял за свою веру и свою землю, сильны не оружием, а верой. Господь с нами, и мы не отдадим врагу ни пяди нашей земли. Кто готов идти защищать Отечество?

Из толпы начали выходить мужчины - молодые и старые, дворяне и крестьяне, казаки и солдаты. Они подходили к священнику, целовали крест, прикладывались к Евангелию и становились в ряд, готовые записаться в ополчение. Женщины плакали, провожая мужей, братьев, сыновей, и слышен был голос старой женщины, которая стояла в толпе и причитала:

- Сына моего единственного забирают, не видать мне его больше, не дожидаться мне его с этой проклятой войны...

Но рядом с ней стоял казак в походной форме, высокий и широкоплечий, и он ответил ей, и голос его был спокоен и твёрд:

- Матушка, не плачь. Мы вернёмся, мы обязательно вернёмся, с победой или с ранами, но вернёмся. С Божьей помощью. Помолитесь за нас, и Господь сохранит нас от пули и сабли. А если мы погибнем - мы умрём за веру, за нашу землю, за вас.

Толпа, услышав эти слова, запела «Спаси, Господи, люди Твоя», и голоса, сначала робкие и тихие, потом всё более громкие и уверенные, сливались в единый мощный, величественный хор, который, казалось, поднимался к самому небу, к Богу, который взирал на них с небес. Колокола Казанского собора зазвонили в полную силу, и их звон, мощный и торжественный, разнёсся над площадью, над городом, над всей этой огромной, многострадальной землёй. Люди крестились, плакали, обнимались, но в каждом сердце, даже в самом испуганном, жила та глубокая, непоколебимая вера, что Россия выстоит, что Господь не оставит её в эту тяжёлую годину.

Дон, станица Берёзовская, тот же день. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы, старой, деревянной, с облупившимся куполом, собрался весь хутор - мужчины, женщины, старики, дети, даже младенцы, которых принесли на руках. В церкви было тесно, и пахло ладаном, воском и тёплым дыханием десятков людей, которые стояли, тесно прижавшись друг к другу, и слушали отца Алексия. Священник стоял перед алтарём, держа в руках манифест, который привезли нарочные из Петербурга, и читал его громко, чтобы все слышали, и голос его звенел, как натянутая струна, проникая в каждое сердце:

- Братья и сёстры, настал час. Настал тот час, о котором говорили наши предки, о котором предупреждали нас старцы. Враг идёт на нашу землю, враг сильный и жестокий, но мы не должны бояться, ибо с нами Бог. Мы должны защитить нашу землю, нашу веру, наши семьи. Господь призывает нас на подвиг, и мы должны ответить на этот призыв.

Старый Иван Берёзов стоял в первом ряду, опираясь на свой костыль. Ему было уже далеко за семьдесят, и он знал, что не сможет воевать, но его дух был крепче, чем у многих молодых, и его вера была глубже, чем у многих священников. Он подошёл к отцу Алексию, поцеловал крест, приложился к Евангелию и повернулся к толпе. Его голос, хриплый от прожитых лет, но всё ещё громкий и властный, прокатился над церковной площадью:

- Мои предки, Берёзовы, воевали с турками, с поляками, со шведами. Я сам воевал с турками под Очаковым, и Господь хранил меня. Теперь - немцы идут, эти безбожники, которые не верят в Христа и смеются над нашими святынями. Но мы - казаки, мы не отдадим ни пяди нашей земли! Мы будем биться до последней капли крови, и Господь поможет нам!

Аксинья стояла в толпе, держа на руках младенца Ивана, который уже начал вертеть головой и тянуть ручки к иконам. Слёзы текли по её щекам, но она улыбалась, глядя на деда, на его гордую, прямую фигуру, на его седые усы и горящие глаза. Отец Алексей подошёл к ней, кропил её и ребёнка святой водой и сказал, и голос его был тих и ласков:

- Бог даст, Емельян вернётся с победой, вернётся к тебе и к сыну. А ты расти его в вере, учи его любить Бога и Россию. Он продолжит род Берёзовых, и его дети, и внуки будут помнить, что их предки защищали свою землю.

Аксинья прижала ребёнка к груди и прошептала, и голос её был тих, но полон той материнской силы, которая движет миром:

- Господи, сохрани его, сохрани Емельяна, сохрани всех наших воинов. Не дай им погибнуть, не дай им пасть в этой страшной войне.

Колокола церкви зазвонили, провожая станичников на войну. И в этом звоне, и в этой молитве, и в этих слезах было то, что называлось верой, и эта вера была сильнее любого оружия.

Петербург, кабинет Бестужева, вечер того же дня. Канцлер сидел за своим массивным столом, заваленным донесениями, письмами и проектами указов. Перед ним горели свечи, и их жёлтый, трепетный свет отражался в его глазах, которые были полны тревоги и решимости одновременно. Он знал, что война началась, что манифест уже обнародован, и теперь каждый день, каждый час будет приносить новые испытания, новые известия, новые трудности. Трубецкой уже был в армии, в самом сердце тех событий, где решалась судьба России. Лесток продолжал плести свои интриги, и каждое его слово, каждый его шаг был как нож, занесённый над страной. Апраксин медлил, выполнял приказы своих прусских хозяев, и эта медлительность, это предательство могло стоить России победы.

Бестужев поднял глаза к иконе Спаса, висевшей в углу, и перекрестился, и голос его, тихий и сдавленный, звучал в тишине кабинета:

- Господи, Ты видишь все их замыслы, Ты знаешь, кто предаёт Россию, кто продаёт веру за золото. Не дай им погубить нашу страну, не дай им разрушить то, что создавали наши предки. Укрепи дух наших воинов, дай им сил и мудрости. Сохрани Россию, Господи, сохрани её от врагов видимых и невидимых.

Он открыл Евангелие, лежавшее на столе, и прочитал те слова, которые всегда давали ему силы в самые трудные моменты: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Канцлер закрыл книгу, перекрестился и почувствовал, как вера, та глубокая, искренняя вера, которая была его опорой всю жизнь, наполняет его сердце спокойствием и силой. Он знал, что война будет тяжёлой, что она потребует огромных жертв, но он знал и то, что Россия выстоит, если не потеряет веру, если не сломается под тяжестью испытаний.

Рига, казарма, февраль тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Мороз был таким лютым, что даже в помещениях, где топились печи, солдаты не снимали тулупов, и воздух был наполнен паром от их дыхания. Емельян стоял в строю вместе с другими солдатами, сжимая в руке нательный крест Аксиньи, который был тёплым от его тела. Перед ними стоял отец Алексей, который приехал с обозом, чтобы благословить армию перед походом. Он был в походном облачении, и в его руках сверкала серебряная чаша со святой водой, и кропило из конского волоса.

Отец Алексей подошёл к каждому солдату, кропил его водой и говорил, и голос его, хотя и был уставшим после долгой дороги, звучал ровно и торжественно:

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Идите с Богом, воины. Помните слова Господни: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Защищайте веру и Отечество, защищайте наши святыни, защищайте то, что дорого каждому православному сердцу.

Когда отец Алексей подошёл к Емельяну, вода коснулась его лица, и он почувствовал, как холодная влага смывает страх, как она омывает его душу и даёт ему ту силу, которая нужна человеку перед боем. Он перекрестился широко, размашисто, сжимая крест в руке, и повернулся к Ивану-хохлу, который стоял рядом и молился шёпотом, и в его глазах была та же вера, что и у всех, кто стоял в этом строю.

Вдалеке слышались команды офицеров, скрип телег, ржание лошадей, звон оружия. Армия готовилась выступать, и война, о которой столько говорили, наконец становилась реальностью, страшной и неотвратимой. Емельян знал, что впереди его ждут тяжёлые испытания, что он может не вернуться домой, что он может умереть в этой чужой, незнакомой земле. Но он был готов, он шёл с верой, и эта вера была его щитом и его мечом.

Дон, станица Берёзовская, март тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Последний мирный день перед тем, как война окончательно ворвётся в их жизнь, и всё изменится навсегда. Снег ещё лежал на крышах и на полях, но уже чувствовалось то тихое, едва уловимое дыхание весны, которое приходит на Дон в конце марта, когда солнце начинает пригревать по-настоящему, и первые проталины появляются на пригорках. Акси́нья стояла у той самой берёзы, которую посадил ещё дед Ивана, когда вернулся с турецкого похода, и держала на руках сына Ивана, который уже начал узнавать её и улыбаться. Ветер шелестел в голых ветках, и ей казалось, что берёза шепчет ей на ухо те самые слова, которые она так хотела услышать: «Жди. Он вернётся. Берёзовы всегда возвращаются».

Она вошла в избу, где было тепло и уютно, села у печи, где дрова уже догорали, превращаясь в красные, тлеющие угли, и открыла маленькое Евангелие, которое оставил ей Емельян перед отъездом. Она читала вслух, чтобы сын слышал её голос, чтобы он рос с этими словами, которые были для неё опорой и надеждой:

- «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

Она перекрестилась, поцеловала книгу, приложившись к её обложке, и посмотрела в окно. На западе, где небо смывалось с землёй, собирались облака - там, далеко, где её муж сражался за Россию, где шла война, где лилась кровь. Она знала, что война будет долгой и тяжёлой, но она верила, верила всем сердцем, что Господь не оставит их, что он защитит её мужа, её сына, её дом. Берёзовы всегда возвращались. Это было не просто обещание, не просто надежда - это была та глубокая, искренняя вера, которая жила в её сердце и которая была сильнее любого страха.

Ветер за окном завывал, и снег кружился в его порывах, но в избе было тепло, и эта теплота, и этот свет, и эти слова Евангелия, и молитва, которую она шептала, - всё это создавало ту атмосферу мира и покоя, которая помогала ей ждать и верить. И казалось, что даже ветер, завывая за стенами, повторял те же слова: «Берёзовы всегда возвращаются. Россия выстоит».

Глава 8. Семья Берёзовых

Дон, станица Берёзовская, весна тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Весна в тот год пришла ранняя и дружная: снег сошёл в марте, и уже к апрелю степи покрылись изумрудной зеленью, а сады, которые казаки разводили с любовью и терпением, зацвели белым и розовым цветом, и воздух был наполнен тем сладким, пьянящим ароматом, который бывает только весной на Дону, когда цветут яблони, вишни и черёмуха. В избе Акси́нии было душно, несмотря на распахнутые настежь окна, через которые врвался свежий, прохладный ветер, принося запах мокрой земли и молодой травы. Но внутри, в тесной избе, всё смешалось - запах пота, травяных

настоев, которыми поили роженицу, и той тревоги, которая витала в воздухе. Акси́нья лежала на широкой деревянной лавке, покрытой старым, выцветшим покрывалом, стиснув зубы так сильно, что на скулах выступили желваки, чтобы не кричать. Её лицо было мокрым от пота, волосы, тёмные и густые, прилипли ко лбу, и она сжимала руку повитухи, старой, опытной казачки, с такой силой, что та морщилась от боли, но не отнимала руки. Роды были тяжёлыми, очень тяжёлыми - ребёнок не хотел выходить, и Акси́нья уже несколько часов боролась с этой мучительной болью, из последних сил шепча ту молитву, которую ей нашептала её собственная мать, когда она сама появилась на свет.

- Господи, помоги мне, - шептала она, и голос её был тих и прерывист. - Матерь Божия, Пресвятая Богородица, заступница наша, дай мне сил, не дай мне умереть, не дай мне оставить сына моего сиротой.

Соседки помогали ей, как могли, и в этой тесной избе их было несколько: одна держала её за плечи, чтобы она не соскользнула с лавки, другая поила её тёплой водой с травами, третья подносила к её лицу настойку из валерианы, чтобы та не потеряла сознание от боли. Старый Иван стоял у входа в избу, не решаясь войти, ибо в таких делах мужчинам не место, но он не мог уйти, и стоял там, опираясь на свой костыль, и крестился, и сжимал в своей сухой, старческой руке старый, потемневший от времени нательный крест, который когда-то принадлежал его отцу, а до того - его деду. Он шептал молитвы, и его губы дрожали, и в этом шёпоте была вся его вера и вся его любовь к этой женщине, которая стала для него дочерью.

- Господи, - молился он, и голос его был тих, но твёрд, как у человека, привыкшего просить у Бога только самое главное, - сохрани её, сохрани Акси́нью, сохрани дитя, которое должно родиться. Не дай им погибнуть, не дай им уйти из жизни, не оставляй нас, Господи, в этот час.

Вдруг раздался пронзительный крик - не крик боли, а крик напряжения, последнего рывка, - и через мгновение, в следующую секунду, раздался первый, звонкий и сильный плач младенца, который, казалось, пронёсся над всей станицей, над всей этой весенней, цветущей степью. Повитуха выпрямилась, и на её лице, усталом и вспотевшем, появилась широкая, радостная улыбка, и она держала в руках маленькое, красное тельце, завернутое в чистую, белую холстину, и глаза её сияли.

- Сын! - объявила она громко, чтобы все слышали. - Сын родился, здоровый, крепкий, кричит как заправский казак. Будет казаком, будет воином, будет продолжателем рода Берёзовых.

Акси́нья, обессиленная, с мокрыми от слёз глазами, улыбнулась той слабой, но счастливой улыбкой, которая появляется у матери, когда она впервые видит своего ребёнка. Она протянула руки к младенцу, и повитуха положила его ей на грудь, и Акси́нья прижала его к себе, чувствуя, как его маленькое, тёплое тельце прижимается к её сердцу, как его дыхание, ровное и спокойное, смешивается с её дыханием.

Старый Иван, услышав крик, наконец вошёл в избу, и его глаза, старые и мудрые, наполнились слезами. Он подошёл к лавке, взял правнука на руки, и его руки, грубые и мозолистые, дрожали от волнения, когда он держал это маленькое, хрупкое существо. Он перекрестил его своей трясущейся рукой, широко, размашисто, и голос его был хриплым от волнения:

- Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Будет казаком, будет воином, как мы все, как его отец, как его деды. Будет продолжателем нашего рода, будет помнить, кто он и откуда он.

Он поднёс ребёнка к иконе Божией Матери, которая висела в красном углу, и прошептал, и в этом шёпоте была вся его благодарность:

- Спасибо тебе, Матерь Божия, за спасение, за то, что сохранила её и дитя. Сохрани его, сохрани его на долгие годы, как сохранила нас всех.

Акси́нья, глядя на сына, который уже начал искать её грудь, шептала сквозь слёзы, и голос её был полон той материнской благодарности, которая не требует слов:

- Спасибо, Господи. Спасибо, Матерь Божия. Ты слышала мои молитвы. Ты сохранила меня и моего сына.

Прошла неделя после родов, и в избе Берёзовых поселился тот особенный, хрупкий мир, который бывает только в доме, где родился ребёнок. Акси́нья уже могла вставать, и её тело, ещё слабое и ноющее после мучительных родов, постепенно возвращалось к жизни, но она чувствовала себя сильной, как никогда, - в ней жила та первобытная, материнская сила, которая не знает усталости. Она кормила сына грудью, и в эти тихие, светлые моменты, когда он прижимался к ней и сосал молоко, она чувствовала, как всё её существо наполняется той тихой, всепоглощающей любовью, которая не требует слов, которая не нуждается в доказательствах.

Но вместе с этой любовью в её сердце жила и тревога - та постоянная, ноющая тревога, которая не давала ей покоя ни днём, ни ночью. Емельян не писал уже почти три месяца. Последнее письмо пришло ещё зимой, короткое, торопливое, где он сообщал, что жив, что стоит в Пруссии, что морозы лютые, но Господь хранит его. С тех пор - ни слова. И каждую ночь Акси́нья просыпалась от того, что ей казалось - она слышит его голос, его шаги, его дыхание. Но за окном была только тишина, только ветер, завывающий в трубе, только скрип снега под чужими то чужими ногами.

Она часто сидела у окна, глядя на дорогу, которая вела в станицу, на ту самую дорогу, по которой Емельян уходил на войну, и в её душе смешивались надежда и страх. Надежда - что он вернётся, что он будет жив, что он увидит своего сына. Страх - что она больше никогда не увидит его, что он останется там, на чужой земле, что его тело будет лежать в чужой, холодной земле, без молитвы, без прощания, без неё.

Однажды, когда она кормила сына, в избу вошла её соседка, Матрёна, женщина лет сорока, которая уже потеряла мужа на этой войне и теперь жила одна, растила троих детей и вела хозяйство. Она была сухой, жилистой, с острым взглядом и резким, быстрым говором, но в её глазах всегда светилась та тёплая, человеческая забота, которая бывает у людей, прошедших через горе и научившихся сочувствовать другим.

- Ну что, Акси́нья, как ты? Как кормится маленький? - спросила она, садясь на лавку и кладя на колени узелок с сушёными яблоками. - Я тебе принесла, грызи, силы нужны. Сама знаешь, когда кормишь - все соки из тебя уходят. Надо поправляться.

- Спасибо, Матрёна, - ответила Акси́нья, и голос её был тих, но в нём слышалась та спокойная, усталая благодарность, которая бывает у людей, привыкших к помощи и не стесняющихся просить её. - Кормится хорошо, слава Бог у. Крепкий, горластый, весь в отца. Уже глаза открывает, смотрит на меня, и мне кажется, что он видит меня, узнаёт меня. А когда он улыбается во сне - я плачу от радости, потому что это его первая улыбка, и она мне.

Матрёна покачала головой, и её лицо, морщинистое и обветренное, с глубокими следами прожитых лет, омрачилось той тенью тревоги, которая всегда появлялась у неё, когда она думала о войне, о тех, кто не вернулся, о тех, кто остался там, на чужой земле.

- Тяжело ждать, Акси́нья, очень тяжело. Я знаю, я ждала своего Петра три года, а потом пришла бумага - «погиб смертью храбрых». Ни тела, ни могилы, ни слова. Только бумага, сухая и казённая. Я тогда чуть не сошла с ума, хотела броситься в Дон, чтобы не видеть этого мира, чтобы не слышать, как дети спрашивают: «Мама, а где папа?» Но Господь дал мне сил, и я выжила. Ради детей, ради себя, ради того, чтобы помнить его и молиться за него. И знаешь, Акси́нья, я тебе скажу: когда я молюсь, я чувствую, что он рядом, что он слышит меня. Это помогает, это даёт силы.

Акси́нья прижала сына к груди, чувствуя его тепло, его дыхание, и её голос был тих, но в нём слышалась та твёрдая, непоколебимая вера, которая была её опорой, которая не давала ей упасть даже в самые тёмные часы:

- Я верю, Матрёна, я верю, что он жив, что он вернётся. Я чувствую это сердцем, я знаю это всей своей душой. Он не может умереть, потому что он нужен мне, нужен нашему сыну,

нужен нашей земле. Берёзовы - они как та берёза, что растёт у нашего дома. Гнутся от ветра, но не ломаются. Выдерживают все бури и остаются стоять. И он выдержит, он вернётся, я знаю.

Матрёна вздохнула, и в её вздохе была та горечь, которую она носила в себе уже два года, та боль, которая не утихала, которая жила в её сердце, как незаживающая рана. Она перекрестилась на икону, стоявшую в углу, и сказала, и голос её был тих, но в нём слышалась та глубокая, материнская мудрость, которая приходит только через страдания:

- Верь, Аксинья, верь. Это самое главное. Без веры мы - как трава без корня, как дерево без земли. А с верой мы выстоим всё. И он вернётся. Я тоже буду молиться за него, я буду ставить свечи за его здоровье, я буду просить Богородицу сохранить его. И он вернётся. Берёзовы всегда возвращаются.

Через неделю, когда Аксинья немного оправилась и могла уже выходить из дому, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы собралась вся станица. Храм был наполнен ладаном и светом свечей, и даже старые, потемневшие стены, казалось, дышали праздничным спокойствием. Отец Алексей стоял в золотых ризах, и солнце, пробиваясь сквозь высокие окна, играло на его облачении, и в руках он держал Евангелие и тяжёлый, серебряный крест. Рядом с ним стояла Аксинья с младенцем на руках, и она была в белом, чистом платке, и лицо её, ещё бледное после родов, было озарено той тихой, внутренней улыбкой, которая появляется у матери, когда она знает, что её ребёнок в безопасности. Старый Иван стоял рядом, выпрямившись, насколько позволяла его сгорбленная спина, готовый стать крёстным отцом и дать своему правнуку ту самую веру, которая была его опорой всю жизнь.

Церемония началась. Отец Алексей прочитал молитвы, и его голос, чистый и звучный, разносился под сводами храма, и младенца трижды погрузили в купель с холодной, святой водой. Ребёнок заплакал от холода и неожиданности, но его быстро успокоили, укутав в сухую, белую пелёнку, и он затих, прижимаясь к матери. Когда обряд закончился, Иван взял правнука на руки, и его глаза, влажные от слёз, смотрели на это маленькое, беззащитное существо с гордостью и благоговением.

- Я был на войне, - сказал он, и голос его дрожал от волнения, - я видел смерть и кровь, я видел, как умирают мои товарищи. Но этот мальчик, этот младенец, - он будет жить в мире. Я верю, что наши победы, наши жертвы принесут ему мир. Он не узнает ужасов войны, если мы сможем защитить его, если мы сможем оставить ему эту землю, чистую и свободную.

Аксинья стояла рядом, держа в руках тонкую восковую свечу, и молилась, чтобы Емельян, её муж, который был далеко, на войне, увидел своего сына, чтобы он вернулся живым и здоровым, чтобы он смог обнять его и дать ему своё благословение. Отец Алексей прочитал молитву, и его голос был торжественен и спокоен:

- Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего младенца Иоанна, новопросвещённого. Даруй ему долгие лета, веру православную и спасение души.

После крестин все отправились в дом Берёзовых на обед, который Аксинья приготовила заранее. Гуляли невесело, ибо война стояла на пороге каждого дома, и мужики были на фронте, и каждая семья ждала вестей, ждала писем с той далёкой, чужой земли, где лилась русская кровь. Но вера в Бога и надежда на возвращение объединяли всех, и на мгновение война отступила, уступая место тому теплу, той любви, тому семейному уюту, которые были опорой для каждого из них.

Лето тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Стояла та жара, когда даже ветер, если он и дул, не приносил прохлады, а лишь сухой, горячий воздух, который иссушал всё вокруг. Аксинья сидела у той самой берёзы, которую посадил дед Иван, и кормила грудью маленького Ивана, который уже начал улыбаться и тянуть свои ручки к её лицу. Ребёнок сосал молоко, и во сне его лицо озаряла та безмятежная, детская улыбка, которая бывает только у младенцев, и она смотрела на него с той любовью и той грустью, которые всегда живут в сердце матери, ждущей мужа с войны.

В её руках было письмо от Емельяна, которое пришло с оказией две недели назад, и она перечитывала его снова и снова, и каждый раз, когда её глаза пробегали по этим строкам, написанным его неровным, торопливым почерком, слёзы наворачивались на её глаза:

«Аксинья, моя родная, моя любимая! Мне сказали, что у нас сын. Я плакал от радости, когда услышал это, я упал на колени и благодарил Бога. Назови его Иваном - в честь деда, в честь того человека, который научил меня вере и любви к нашей земле. Пусть растёт сильным, верующим, пусть он знает, что его отец любит его, даже если он не видел его. Я молюсь за вас каждый день, каждую ночь, каждую минуту. Здесь война, и она страшная, но я верю, что Господь сохранит меня для вас. Целую тебя, целую нашего сына, целую деда Ивана. Твой Емельян».

Аксинья прижала письмо к своим губам, затем к иконе Спаса, которая висела на берёзе, и прошептала, и голос её был тих, но полон той глубины и той веры, которые дают человеку силы ждать и надеяться:

- Спасибо, Господи, что он жив. Спасибо, что он верит в нас, что он не теряет надежды. Сохрани его, Господи, сохрани его от пули и сабли, от болезней и голода. Дай ему вернуться домой.

Она сидела под берёзой, и ветер шелестел в её листьях, создавая ту тихую, уютную мелодию, которая успокаивала душу. Аксинья смотрела на небо, на те белые, пушистые облака, которые плыли над станицей, и думала о том, что где-то там, за этими облаками, за горами и морями, её муж воюет, страдает, молится и верит. И эта мысль, странная и утешительная одновременно, давала ей силы.

Она вспомнила тот день, когда они прощались у этой же берёзы. Емельян стоял, опираясь на свою саблю, и его лицо было серьёзным, но в глазах горел тот огонь, который она так любила. Он сказал ей тогда: «Я вернусь, Аксинья. Я обещаю тебе, я клянусь тебе этой берёзой, этим небом, этой землёй. Я вернусь, чтобы посадить новую берёзу, в честь нашей любви, в честь нашей веры, в честь нашего будущего». И она верила ему, она верила каждому его слову, потому что он никогда не обманывал её.

Вечером она пошла в церковь, и там, перед иконой Богородицы, поставила свечу за здравие Емельяна и долго стояла, и её тихая, искренняя молитва поднималась к небу, к Богу, который видел её сердце. Отец Алексей подошёл к ней, положил свою руку на её плечо и сказал, и голос его был тих и ласков:

- Аксинья, не отчаивайся, не теряй веры. Господь слышит твои молитвы, Он видит твоё сердце. Берёзовы выживут, потому что их вера крепка, потому что они не сдаются. Жди и верь.

Аксинья кивнула, улыбнулась сквозь слёзы и вышла из храма. Ветер, тёплый и ласковый, шелестел в листьях берёз, и ей казалось, что они шепчут ей те самые слова, которые она хотела услышать: «Жди. Он вернётся. Берёзовы всегда возвращаются».

Возвращаясь домой, она встретила у колодца ещё нескольких казачек. Они стояли, тихо переговариваясь, и их лица были озабочены. Одна из них, молодая, с заплаканными глазами, держала в руках письмо, и её руки дрожали.

- Аксинья, - сказала она, и голос её дрожал от слёз, - мне пришло письмо от мужа. Он пишет, что под Цорндорфом было страшное сражение, что много наших погибло, что он ранен, но жив. Он пишет, что немцы наступают, что они сильные, что Господь едва спас его. Я боюсь, Аксинья, я боюсь, что он не вернётся, что я останусь одна, что дети останутся сиротами.

Аксинья подошла к ней, обняла её, чувствуя, как её плечи дрожат от рыданий, и её голос был тих, но в нём слышалась та материнская, утешительная сила, которая не знает границ:

- Не бойся, не бойся, сестра. Господь не оставит его, если он верит. Молись, молись за него каждый день, каждую ночь. И он вернётся. Я тоже буду молиться за него, я буду просить Богородицу защитить его, как я прошу за своего Емельяна. Мы все сёстры в этой беде, мы все ждём, мы все верим, и наша вера сильнее любой армии.

Осень тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Станица жила своей привычной, размеренной жизнью, но война чувствовалась во всём: в пустых домах, где не было мужчин, в молчаливых женщинах, которые собирались у колодцев и перешёптывались о последних новостях, в редких письмах, которые приходили с фронта, и в тех тревожных слухах, которые передавались из уст в уста. Урожай собрали, и часть его отправили в армию, и казачки вздыхали с облегчением, что они смогли сделать это, что они не подвели своих мужей. Старый Иван, несмотря на свой преклонный возраст и больную ногу, работал в кузнице, ковал подковы для лошадей, которые уходили на войну, и его руки, сильные и умелые, были в мозолях и ссадинах, но он не жаловался, ибо знал, что его труд - это тоже вклад в общую победу.

Вечером, когда солнце уже садилось за горизонт, и небо окрашивалось в багряные, золотые тона, он вышел из кузницы, тяжело опираясь на костыль, сел у берёзы, и Аксинья принесла ему ужин - кусок свежего хлеба, сало, кружку тёплого молока.

- Дед, - сказала она, садясь рядом с ним на скамейку, и голос её был тих и задумчив, - а что будет, если Емельян не вернётся? Что мы будем делать, если он погибнет там, в этой чужой земле?

Старый Иван долго молчал, глядя на запад, где закат окрашивал небо в кровавые тона, и в его глазах, старых и мудрых, была та глубокая, спокойная вера, которая давала ему силы жить.

- Вернётся, - сказал он, наконец, и голос его был тих, но твёрд, как у человека, который знает правду. - Я чуял, когда мой отец воевал с турками, он тоже не писал полгода, и мы все уже думали, что он погиб. А потом он пришёл, с одним глазом, но пришёл. Берёзовы - они как берёзы: гнутся от ветра, но не ломаются, не вырываются с корнем.

Он перекрестился широко, размашисто, глядя на звёзды, которые уже начинали проступать на тёмном небе:

- Наш род, Аксинья, - он под Божьей защитой. Помни это, запомни навсегда. Мы - корни, мы - основа, мы - те, кто держит эту землю. А корни не вырвать, корни не сломать.

Аксинья улыбнулась сквозь слёзы, поблагодарила его и ушла в дом, и на душе у неё стало теплее, и она знала, что дед прав, что она должна верить и ждать, сколько бы времени ни прошло.

Зима тысяча семьсот пятьдесят седьмого - тысяча семьсот пятьдесят восьмого года. Станица засыпана снегом, и дома, с их тёплыми, дымящими печами, казались белыми сугробами, в которых горел тёплый, уютный свет. Аксинья сидела у печи, и шила тёплую одежду для фронта, вместе с другими казачками собирала посылки для солдат - сухари, сушёное мясо, тёплые носки и рукавицы. Маленький Иван уже ползал по избе, и хватал своими маленькими, цепкими ручонками всё, что попадалось ему на пути, и тянул их к иконам, которые висели в красном углу. Аксинья уже учила его молиться, и он, смешно складывая свои маленькие пальчики, уже пытался повторять за ней слова «Господи, помилуй».

Она часто думала о Емельяне, и её мысли были полны той тоски, которая живёт в сердце каждой женщины, ждущей мужа с войны. Она вспоминала его лицо, его голос, его прикосновения, его смех, его глаза, когда он смотрел на неё с той любовью, которая была её опорой. Она вспоминала, как они сидели у берёзы в последний вечер перед его уходом, как он держал её за руку и обещал вернуться, как он целовал её и говорил, что любит её больше жизни. И эти воспоминания, светлые и горькие одновременно, были её утешением и её болью.

В одну из таких ночей, когда за окнами завывала метель, и снег бил в стёкла, и ветер завывал в трубе, Аксинья сидела у печи, держа на руках спящего сына, и не могла уснуть. Она смотрела на огонь, на те языки пламени, которые танцевали в печи, сжигая сухие дрова, и её мысли были о Емельяне, о том, где он сейчас, что с ним, жив ли он, молится ли он, помнит ли он о них. Вдруг ей показалось, что она слышит его голос, тот самый голос, который она так любила, который был её опорой в самые трудные моменты.

- Аксинья, - прошептал голос, и он был тих, но отчётлив, как будто он звучал у неё в голове, - не бойся, не теряй надежды. Я жив, я вернусь, я клянусь тебе. Молись, и твоя молитва дойдёт до меня. Я чувствую тебя, я чувствую твою любовь, я чувствую твою веру. Она даёт мне силы, она помогает мне не сломаться.

Аксинья вздрогнула, и слёзы потекли по её щекам, горячие и солёные, капая на лицо спящего сына. Она перекрестилась широко, размашисто, и прошептала, и её голос был полон той веры, которая была сильнее любых сомнений, сильнее любой боли, сильнее самой смерти:

- Я верю, Емеля, я верю. Я буду ждать тебя, сколько бы времени ни прошло. Я буду молиться за тебя каждый день, каждую ночь. И ты вернёшься, ты обязательно вернёшься. Берёзовы всегда возвращаются.

Она встала, подошла к иконе Божией Матери, которая висела в красном углу, и долго стояла перед ней, молясь, и её молитва, тихая и искренняя, поднималась к небу, к тем звёздам, которые мерцали в тёмном небе за окном, к Богу, который видел её сердце и слышал её душу. Она просила не о богатстве, не о славе, не о лёгкой жизни. Она просила только об одном - чтобы её муж вернулся домой, чтобы её сын узнал своего отца, чтобы их семья была цела, чтобы их вера была крепка.

Когда она закончила молиться, она вернулась к печи, села на лавку и снова взяла в руки шитьё. Её руки двигались ровно и уверенно, и каждый стежок, каждая петля были её молитвой, её надеждой, её любовью. Она шила для него, для того, кто был далеко, но кто был с ней в каждом её вздохе, в каждом её движении, в каждой её мысли.

Конец февраля тысяча семьсот пятьдесят восьмого года. В станицу приехал священник из соседнего хутора, который только что вернулся из армии, и привёз новости, которые разнеслись по всей станице, как ветер: русские взяли Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии, и победа была близка, и враг уже не казался таким страшным, как раньше. Аксинья слушала эти новости, и слёзы радости текли по её щекам, и она не могла сдержать их. Она пошла к той самой берёзе, которую посадил дед Иван, прижалась лицом к её белой, холодной коре и прошептала, и голос её был полон той благодарности и той надежды, которые живут в сердце каждого человека, ждущего возвращения близких:

- Берёза, он жив, он победил, он скоро вернётся, я знаю это, я чувствую это всем сердцем.

Старый Иван вышел из дома, опираясь на костыль, посмотрел на неё, на эту молодую женщину, которая стала для него дочерью, и кивнул, и в его глазах была та спокойная, мудрая уверенность, которая давала ему силы жить и верить:

- Я же говорил тебе, Аксинья: Берёзовы живучие. Теперь жди, терпи. Скоро война кончится, и он вернётся домой.

Но Аксинья, хотя она улыбалась и радовалась этой новости, знала, знала глубоко в своём сердце, что война не скоро кончится, что впереди будут ещё битвы, ещё сражения, ещё потери. Но она была готова ждать, сколько бы времени ни прошло, ибо вера давала ей силы. Она знала, что Берёзовы всегда возвращаются, что их род - это корни, которые уходят глубоко в землю, и что ничто не может вырвать их из этой земли.

Глава 9. Шпионы в Петербурге

Петербург, особняк Лестока, поздний вечер. За высокими, стрельчатыми окнами, выходящими на Мойку, выла метель, та самая петербургская метель, которая, казалось, проникала в самые стены, заставляя дрожать оконные стёкла и завывать в печных трубах с такой тоской, что даже привычные к этому городу слуги вздрагивали и крестились на образа. В кабинете графа Лестока, обставленном с той роскошью, которая была свойственна людям, выбившимся из низов и стремившимся показать своё богатство, было темно и неудобно - только одна восковая свеча горела на массивном дубовом столе, отбрасывая жёлтые, трепетные блики на стены, увешанные портретами в тяжёлых золочёных рамах. Граф сидел в глубоком кресле, обитом

тёмно-зелёным бархатом, запершись от слуг на ключ, и перебирал донесения от прусского агента, которые только что доставили с курьером, проскользнувшим в дом через чёрный ход. Его лицо, обычно надменное и спокойное, с той лёгкой, снисходительной улыбкой, которую он всегда носил при дворе, сейчас было напряжённым и сосредоточенным, ибо он знал, что каждый его шаг, каждое его слово может стать последним, что Трубецкой, этот молодой князь, который так внезапно появился при дворе, ходит за ним по пятам, и что Бестужев, старый лис, уже что-то подозревает.

Перед ним на столе лежали инструкции Фридриха II, написанные на тонкой, плотной бумаге, свёрнутые в трубку и перевязанные шёлковой лентой. Они были чёткими, холодными, деловыми, как все приказы прусского короля, и они требовали от Лестока немедленных действий: задержать наступление русской армии, дезинформировать генералов, подкупить ключевых офицеров, сделать всё, чтобы Россия не смогла оказать серьёзного сопротивления прусской армии. Лесток читал их, и его губы, тонкие и бледные, шевелились, беззвучно повторяя слова, и в этом беззвучном чтении была вся его сосредоточенность и вся его преданность тем, кто платил ему золотом. Он взял со стола серебряный нательный крест, дорогой, с позолотой и филигранной работой, который он носил для вида, чтобы казаться благочестивым при дворе, чтобы императрица, эта набожная, богомольная женщина, не заподозрила его в безбожии. Он сжал его в своей руке так сильно, что острые края металла впились в ладонь, оставляя красные следы, и усмехнулся той холодной, циничной усмешкой, которая была свойственна его натуре.

- Русские верят в эти побрякушки, - прошептал он, и голос его был тих и презрителен. - Они молятся, крестятся, кладут земные поклоны перед своими иконами, верят, что Бог слышит их. А мы, просвещённые люди, мы знаем настоящую цену вере. Деньги, вот истинный Бог. Деньги и сила, - всё остальное, все эти молитвы и посты, для глупцов и невежд.

Он отбросил крест на стол, где тот звякнул о дубовую поверхность, подошёл к сейфу, вмонтированному в стену за тяжёлой картиной в массивной раме, и открыл его ключом, который всегда носил на шее. Внутри, на бархатной подкладке, лежал мешок с золотыми монетами - настоящими, не фальшивыми, полученными от прусского короля за его услуги. Лесток взял мешок, взвесил его на руке, и его глаза, холодные и расчётливые, засветились той жадностью, которая была его главной страстью.

- Апраксин получит свою долю, - сказал он, и голос его был тих, но твёрд. - Он должен быть сытым и довольным, чтобы продолжать медлить, продолжать задерживать наступление. Трубецкой слишком близко, но пока он ничего не знает, он только подозревает, а подозрения - это не доказательства. Я сброшу его со следа, я заставлю его бегать за ложной информацией, пока я буду делать своё дело.

В дверь тихо позвонили, и в кабинет, бесшумно ступая, вошёл его человек - низкорослый, с хитрыми, бегающими глазами, одетый в тёмный, неброский костюм, который всегда выполнял его самые тайные поручения.

- Граф, - сказал он, и голос его был тих и почтителен, - за вами следят. Князь Трубецкой ошивается рядом с вашим домом уже три часа. Он сидит в карете напротив, и его карета не двигается с места. Он ждёт чего-то, или кого-то, или следит за вами.

Лесток усмехнулся, и его лицо, мгновение назад сосредоточенное, стало хищным, как у волка, почуявшего добычу.

- Пусть следит, пусть мёрзнет в своей карете. Завтра на балу у австрийского посла я разыграю такой спектакль, от которого он побежит к Бестужеву с ложной информацией, с фальшивыми доказательствами. Мы сбросим их со следа, мы заставим их смотреть не в ту сторону, и мы выиграем время, которое так нужно нам.

Он спрятал мешок с золотом в тайник, который был устроен за иконой - циничное кощунство, которое он совершал с лёгкостью, ибо для него иконы были просто кусками дерева, а

вера - пустым звуком. Икона, изображавшая Спаса Нерукотворного, висела на стене, и за ней, в углублении, лежало золото, которое должно было погубить Россию.

Трубецкой сидел в своей карете напротив особняка Лестока, закутавшись в тёмный, тяжёлый плащ с поднятым воротником. В руках он перебирал чётки - простые деревянные бусины, которые скользили между его пальцами, успокаивая его и возвращая ту внутреннюю тишину, которая была так нужна ему в этом напряжённом ожидании. Он ждал уже третий час, и холод, пронизывающий, сырой, проникал сквозь его одежду, но он не сдавался, ибо знал, что Лесток рано или поздно выдаст себя, что предательство не может оставаться скрытым вечно.

Внезапно, когда он уже начал терять надежду, из дома Лестока вышел человек в чёрном, с мешком в руках. Он быстро, почти бегом, прошёл по тёмной, заснеженной улице, оглядываясь по сторонам, и скрылся в узком, тёмном переулке. Трубецкой шепнул, и голос его был тих, но твёрд:

- Господи, укажи мне путь, не дай мне потерять его из виду. Дай мне сил и терпения.

Он вышел из кареты, бесшумно, как тень, и последовал за человеком через лабиринт переулков, стараясь не приближаться слишком близко, чтобы не быть замеченным. Человек зашёл в трактир «У трёх сазанов», тот самый, где уже бывал Трубецкой, и остановился у входа, наблюдая через закопчённое, грязное окно. Он видел, как человек передал мешок другому - плотному мужчине с лицом, скрытым широкополой шляпой. Тот взял мешок, кивнул, не сказав ни слова, и вышел через чёрный ход, сел в карету, которая ждала его, и быстро уехал.

Трубецкой попытался запомнить номер кареты, но темнота и снег мешали, и он понял, что не успел разглядеть его. Он выругался, затем, опомнившись, перекрестился и прошептал:

- Прости, Господи, прости меня за сквернословие, за то, что я не сдержался. Но я должен был разглядеть его лицо, я должен знать, кто он, кто этот человек, который получает золото из рук Лестока.

Он вернулся в свою карету, достал дневник, который всегда носил с собой, зажёл маленькую свечу и написал дрожащей рукой:

«Лесток передал золото неизвестному в трактире. Возможно, генералу из армии, или агенту, или кому-то из штаба. Продолжу слежку, но время уходит. Господи, дай мне мудрости найти правду, не дай мне сбиться с пути».

Он спрятал дневник в потайной карман плаща и уехал, чувствуя, как внутри него нарастает та тревога, которая всегда появляется у человека, когда он понимает, что враг близко, но он не может его схватить.

Усадьба Хованских, то же утро. Мария Хованская стояла у высокого окна в своей комнате, выходящей в заснеженный сад, где старые липы стояли, укрытые белым, пушистым снегом. Она была молода, красива, с ясными, серыми глазами, в которых светилась та глубокая, искренняя вера, которая была свойственна её роду. Её отец, старый князь Хованский, часто предупреждал её держаться подальше от придворных интриг, от тех тёмных дел, которые плелись в Зимнем дворце, но Мария была любопытна и не боялась опасностей, ибо она знала, что правда стоит того, чтобы за неё рисковать.

Она собиралась в город, чтобы зайти в Казанский собор на утреннюю службу, как делала каждое воскресенье. Она надела тёплую, соболью шубку, взяла муфту и села в карету. Проезжая мимо особняка Лестока, она заметила, как его слуга, старый, сторбленный человек, выносит кучу бумаг и бросает их в большой костёр, который был разожжён во дворе. Пламя пожирало письма, и Мария, сама не зная зачем, почувствовав что-то, приказала кучеру остановиться.

- Подожди меня здесь, - сказала она, и вышла из кареты.

Она подошла к чугунной ограде, наблюдая за костром, за тем, как пламя пожирает бумагу. Внезапно ветер подхватил одно из недогоревших писем и отнёс его прямо к ногам

Марии. Она быстро, оглянувшись, наклонилась, подняла его, спрятала в муфту и вернулась в карету, чувствуя, как её сердце бьётся от волнения.

Дома, оставшись одна, она развернула обгоревшую бумагу, и её глаза пробежали по строчкам, написанным тем же почерком, который она уже видела. Это было письмо Лестока к Фридриху, в котором граф обещал задержать наступление русской армии, дезинформировать командование и сделать всё, чтобы Россия не смогла победить. Мария побледнела, её руки задрожали, и она перекрестилась, прошептав:

- Господи, прости меня, прости меня за этот грех - я украла, я взяла то, что мне не принадлежит. Но это ради правды, ради России, ради того, чтобы предатель был наказан. Прости меня, Господи.

Она спрятала письмо в корсет, туда, где билось её сердце, и решила передать его Трубецкому, ибо она знала, что только он сможет использовать это доказательство.

Вечер, церковь Спаса на Крови. Трубецкой стоял на коленях перед иконостасом, готовясь к исповеди. Он был бледен, его глаза, глубокие и усталые, горели тревогой. Рядом с ним стоял седой священник с добрым, но строгим лицом, и его голос, тихий и ровный, звучал в полумраке храма.

- Отец, - начал Трубецкой, и голос его дрожал от волнения, - я грешен, я великий грешник. Я ношу в своём сердце ненависть к Лестоку, я желаю ему зла, я хочу его смерти. Но он предаёт Россию, он предаёт веру, он продаёт нашу землю за золото. Я не могу простить его, я не могу не желать ему зла.

Священник посмотрел на него, и его глаза, старые и мудрые, были полны той спокойной, благословенной любви, которая даётся только тем, кто много лет служит Богу.

- Гнев - грех, сын мой, - сказал он, и голос его был тих, но твёрд, - но желание защитить веру и Отечество - это добродетель. Молись, чтобы Господь дал тебе силы не ожесточиться сердцем, не потерять свою душу в этой борьбе. Иди и делай что должен, но помни: не ты судья, а Бог. Он воздаст каждому по делам его, и ничто не останется в тайне.

Трубецкой поцеловал крест, который держал священник, поднялся с колен и вышел из церкви. На паперти его ждала Мария, её лицо было бледным, но в глазах горела та решимость, которая появляется у людей, когда они знают, что правда на их стороне.

- Саша, - сказала она шёпотом, - я должна тебе кое-что показать.

Она отвела его в сторону, в тень старой липы, и достала обгоревшее письмо. Трубецкой прочитал его, и его лицо, мгновение назад спокойное, потемнело от гнева и тревоги.

- Это прямое доказательство, - сказал он. - Мари, ты рисковала жизнью, ты понимаешь это? Если Лесток узнает, что ты взяла это письмо, он не остановится ни перед чем, он убьёт тебя.

- Я не боюсь, - ответила она, и в голосе её была та стальная, непоколебимая твёрдость, которая была свойственна женщинам её рода. - Я верю, что Господь защитит меня. Иди, Саша. Передай это Бестужеву. И молись, молись за нас, за Россию.

Трубецкой взял её руку, сжал её и поцеловал, и в этом поцелуе была вся его любовь и вся его благодарность. Затем он ушёл в ночь, и Мария долго стояла на паперти, глядя ему вслед, шепча ту молитву, которую она читала каждый вечер.

Кабинет Бестужева, поздняя ночь. Канцлер сидел за своим столом, и перед ним лежало письмо Лестока, которое принесла Мария. Он читал его уже в третий раз, и его руки, сухие и старческие, дрожали от гнева, но голос его, когда он заговорил, был спокоен и холоден:

- Это иуда, - сказал он, и в голосе его была та ледяная ненависть, которая появляется у человека, когда он сталкивается с предательством. - Он целует крест и продаёт Россию, он целует иконы и продаёт веру. Он предаёт не только армию, он предаёт всё, что нам дорого.

Он перекрестился на икону Спаса, висевшую в углу, и прошептал:

- Господи, укрепи нас, дай нам сил и мудрости. Лесток силён, он приближён к императрице, и у неё есть слабость к нему. Одного письма мало - он скажет, что это подделка, что это фальшивка, подброшенная его врагами. Нам нужно, чтобы он выдал себя сам, чтобы он попался на месте преступления.

Трубецкой стоял перед ним, его лицо было решительным, и в глазах его горел тот огонь, который появляется у человека, готового идти до конца.

- Я могу подбросить ему фальшивое письмо от Фридриха с обещанием золота, - сказал он. - Он попадётся, когда будет его читать, когда он будет думать, что это настоящая инструкция. Он выдаст себя, я уверен.

Бестужев медлил, и в его душе боролись страх и надежда. Затем он кивнул, и в этом кивке была вся его решимость.

- Это риск, - сказал он. - Если он заподозрит, если он почувствует ловушку, он начнёт охоту за нами, и мы можем не пережить её. Но другого выхода нет. Делай, князь. Иди к заутрене завтра, помолись, возьми благословение, а затем - к делу.

Утро, ранняя литургия в Казанском соборе. Трубецкой стоял в толпе прихожан, держа в руках зажжённую свечу, и молился, и в его молитве была вся его вера и вся его надежда. Он причастился, поцеловал крест и икону, и когда он выходил из собора, его догнал священник, который служил всенощную в доме Лесток - он пришёл в собор с просьбой о милостыне, и его лицо, доброе и усталое, было бледно от холода.

- Отец, - сказал Трубецкой, останавливая его, - скажи мне, бывает ли граф Лесток на исповеди? Искренне ли он кается в своих грехах?

Священник вздохнул, и в его глазах была та грусть, которая появляется у людей, когда они видят зло и не могут ничего с ним сделать.

- Редко, сын мой, очень редко, - ответил он. - Он держит в доме икону, но молится редко, и когда молится - то только для глаз, для того, чтобы люди видели его благочестие. И носит крест, но, видит Бог, для отвода глаз, для того, чтобы императрица не заподозрила его в безбожии.

Трубецкой кивнул, дал священнику золотой и сказал:

- Молитесь за Россию, отец, молитесь за нас всех. И за него тоже, - добавил он после паузы. - Ибо он не ведаёт, что творит.

Он вышел из собора, сжимая в руке поддельное письмо, которое должен был подбросить Лесток на балу. Он перекрестился на золотые купола, на кресты, сияющие на утреннем солнце, и пошёл к своей карете. Впереди его ждала новая игра, новая опасность, новое испытание, но он знал - вера поможет ему выстоять, поможет ему не сломаться, поможет ему найти правду и защитить Россию.

Глава 10. Канцлер и заговорщики

Петербург, кабинет Бестужева, раннее утро. За высокими, стрельчатыми окнами, выходящими на Неву, ещё было темно, и только первые, бледные лучи света начинали пробиваться сквозь тяжёлые, свинцовые тучи, предвещая новый, холодный день. Канцлер уже сидел за своим массивным дубовым столом, заваленным бумагами, донесениями и проектами указов, и в руках он держал то самое поддельное письмо, которое Трубецкой подбросил Лесток на балу у австрийского посла. Он перечитывал его в третий раз, проверяя каждое слово, каждую букву, каждую печать, ибо от этого зависело слишком многое. Письмо было сделано искусно - почерк, имитирующий почерк прусских агентов, был почти неотличим от настоящего, сургуч был правильного цвета, даже бумага, плотная и с водяными знаками, выглядела как настоящая, привезённая из Голландии. Бестужев удовлетворённо кивнул, и его лицо, усталое и измождённое, осветилось той едва заметной, но спокойной улыбкой, которая появлялась у него, когда он чувствовал, что дело движется в нужном направлении.

Он перекрестился на икону Спаса, висевшую в углу, и прошептал, и голос его был тих, но в нём слышалась та стальная решимость, которая помогала ему выдерживать все испытания:

- Господи, дай, чтобы эта уловка сработала, дай, чтобы Лесток клюнул на эту приманку, как рыба на крючок. Если он попадётся, если он выдаст себя, мы поймаем его на месте преступления, и тогда никто не сможет спасти его. Но если он почувствует ловушку, если он заподозрит неладное, мы потеряем всё, всё, над чем мы работали так долго.

Он взял гусиное перо, обмакнул его в чернильницу из тёмного стекла и написал короткую записку императрице Елизавете. Пальцы его, сухие и старческие, дрожали от волнения, но буквы ложились на бумагу ровно и чётко, ибо он привык писать даже в самые трудные моменты своей жизни:

«Ваше Величество, всемилостивейшая государыня! Я вынужден сообщить вам, что в вашем ближайшем окружении есть человек, который плетёт заговор против России и против вас лично. У меня есть доказательства, которые я готов представить вам в любое время. Я прошу вашего позволения провести расследование и представить вам неопровержимые улики. Ваш верный и преданный слуга, Алексей Бестужев».

Канцлер запечатал письмо сургучом, на котором оттиснул свою личную печать с гербом рода Бестужевых, и передал его курьеру, стоявшему у дверей, молодому, бледному человеку, который знал, что от него требуют полной тайны.

- Доставь это лично в руки императрицы, - сказал он, и голос его был серьёзен и строг. - И никому больше, ни единой душе. Если кто-то спросит тебя, откуда это письмо, ты не знаешь, ты не видел меня, ты не получал никакого письма. Твоя жизнь зависит от этого.

Курьер поклонился, принял письмо, спрятал его за пазуху и бесшумно вышел из кабинета. Бестужев остался один, и когда за курьером закрылась дверь, он откинулся на спинку кресла, чувствуя, как усталость наваливается на него с новой силой. Он взял в руки чётки, старые, потёртые, которые когда-то принадлежали его матери, и начал перебирать их. Деревянные бусины, гладкие от долгого употребления, скользили между его пальцев, успокаивая его и возвращая ту внутреннюю тишину, которая была так нужна ему в этот час. Он молился шёпотом, и голос его, тихий и сдавленный, звучал в полумраке кабинета:

- Господи, не дай погибнуть правде, не дай предателям погубить Россию. Укрепи меня, дай мне силы довести это дело до конца, не дай мне сломаться под тяжестью этой борьбы. Я знаю, что Ты слышишь меня, и я верю, что Ты поможешь нам.

Он молился долго, пока за окнами не начало светать, и небо не окрасилось в серые, предрассветные тона. Он знал, что сегодня, в этот самый день, решается судьба не только его карьеры, но и всей страны, и что он должен быть готов к любому повороту событий.

Зимний дворец, покои императрицы, то же утро. Утро только начиналось, но Елизавета уже проснулась - она не спала всю ночь, мучимая тревогами, которые не давали ей покоя. Её лицо было бледным, под глазами залегли глубокие тени, и горничные, помогавшие ей одеваться, старались не смотреть на неё, ибо знали, что императрица не в духе. В руках она держала записку Бестужева, которую курьер принёс час назад, и перечитывала её снова и снова, и её брови, тонкие и изящные, хмурились всё больше, ибо она не знала, кому верить - своему старому канцлеру, который служил ей столько лет, или тем, кто окружал её каждый день.

В комнату, не постучавшись, вошёл Лесток. Он имел такую привилегию - быть допущенным к императрице в любое время, и он пользовался ею без стеснения. Он поклонился, но в его глазах, холодных и расчётливых, был тот блеск, который появлялся у него всегда, когда он чувствовал, что победа близка, а улыбка его, слишком сладкая и приторная, была похожа на маску, которую он надевал и снимал по своему желанию.

- Ваше Величество, - сказал он, и голос его был тих и почтителен, - я пришёл к вам с важным известием, которое касается вашей безопасности и безопасности всей России. Я не мог ждать, ибо время не терпит.

Елизавета подняла на него глаза, и в них была тревога и недоверие:

- Что ты хочешь сказать мне, граф? Говори, не томи.

- Бестужев замышляет против вас, - сказал Лесток, и голос его стал серьёзным, почти трагическим. - Он хочет свергнуть вас с престола и посадить на ваше место кого-то из Шуваловых, кого-то, кто будет послушен ему. У меня есть доказательства, Ваше Величество, есть письма, которые он отправил в армию с требованием подчиняться только ему, а не вам. Он хочет стать диктатором, Ваше Величество, он хочет править Россией вместо вас.

Он протянул ей фальшивые письма, подделанные его людьми с таким искусством, что даже опытный глаз мог не заметить подлога. Елизавета взяла их, пробежала глазами по строкам, и её руки, униженные кольцами, задрожали так сильно, что бумаги зашелестели.

- Это... это правда? - прошептала она, и голос её дрожал от страха и сомнений. - Алексей Петрович... он всегда был верен мне... он служил мне столько лет...

- Истинная правда, Ваше Величество, - Лесток перекрестился на икону, стоявшую в углу, но его глаза, холодные и пустые, оставались такими же, и в них не было ни капли веры. - Клянусь этим святым крестом, я говорю вам правду. Бестужев - предатель, и если вы не остановите его сейчас, он погубит вас и Россию.

Елизавета колебалась. Она не знала, кому верить - своему старому канцлеру, который был с ней в самые трудные времена, или этому хитрому, ловкому графу, который умел говорить то, что она хотела слышать. Она посмотрела на икону Богородицы, висевшую в красном углу, и прошептала, и в этом шёпоте была вся её растерянность и вся её вера:

- Господи, вразуми меня, покажи мне правду, не дай мне ошибиться. Я не знаю, кому верить, я не знаю, где правда, а где ложь.

Лесток, видя её сомнения, почувствовал, что победа близка, что он почти добился своего. Он улыбнулся, но промолчал, давая словам осесть в её душе, давая им прорасти теми ядовитыми ростками сомнения, которые он так умело сеял.

Трубецкой узнал о визите Лестока к императрице от Марии Хованской, которая была во дворце вместе с отцом и видела, как граф входил в покои императрицы с торжествующим видом. Он сразу же поехал к Бестужеву и, не постучавшись, ворвался в его кабинет, тяжело дыша от быстрого бега.

- Канцлер! - сказал он, и голос его был прерывистым от волнения. - Лесток опередил нас! Он уже был у императрицы, он уже донёс на вас! Он обвинил вас в заговоре против неё, он сказал, что вы хотите свергнуть её.

Бестужев сидел за своим столом спокойно, перебирая бумаги, и не выглядел взволнованным или испуганным. Он поднял глаза на Трубецкого, и в них была та спокойная, глубокая уверенность, которая появляется у человека, знающего, что он прав.

- Я знал, что он так сделает, - ответил канцлер, и голос его был ровен и спокоен. - Я ожидал этого, я готовился к этому. Поэтому я уже отправил императрице второй пакет, и там, в этом пакете, лежат копии его поддельных писем, с моими пометками, с моими доказательствами того, что это фальшивка. Игра продолжается, князь, и мы не должны терять головы.

Трубецкой перекрестился с облегчением, и в его глазах мелькнула та искра надежды, которая возвращается к человеку, когда он понимает, что опасность миновала:

- Слава Богу, слава Богу, что вы предусмотрительны, Ваше Сиятельство. Я боялся, я думал, что он нас обошёл, что мы проиграли эту битву.

- Я верю, что Господь даёт мудрость тем, кто служит правде, - сказал Бестужев, и голос его был тих, но твёрд. - Теперь нам нужно, чтобы Лесток выдал себя сам, чтобы он сделал это прилюдно, при свидетелях. Готовься к балу у австрийского посла через три дня. Там мы устроим ему ловушку, из которой он не сможет вырваться.

Трубецкой кивнул, чувствуя, как вера в победу, та глубокая, спокойная вера, возвращается к нему.

Три дня спустя. Бал у австрийского посла графа Эстерхази. Дворец сиял огнями, и музыка, лёгкая и весёлая, лилась из каждого угла, и гости, разодетые в свои лучшие наряды, кружились в танцах, смеялись, пили шампанское, и казалось, что война, со всеми её ужасами, осталась где-то далеко, за пределами этих сияющих стен. Трубецкой стоял в своём парадном мундире, и под рубашкой, у самого сердца, лежали два предмета, два талисмана, которые были с ним всегда: старый нательный крест, потемневший от времени, и маленькая иконка Божией Матери, подаренная Бестужевым. Он следил за Лестоком, который уже выпил лишнего и, разгорячённый вином и успехом, разговаривал с человеком, которого Трубецкой не знал, но который был подставным агентом, подосланным Бестужевым.

Лесток, чувствуя себя в безопасности, взял из рук агента тяжёлый кожаный мешок, звякнувший металлом, и сказал громко, чтобы все слышали, и голос его, пьяный и самоуверенный, разнёсся по залу:

- Передай Фридриху, передай ему лично: Апраксин получил своё золото, наступление задержано на месяц, на два, на сколько нужно. Россия не будет воевать, пока мы не получим всё, что хотим, пока наши карманы не будут полны.

Агент отступил, и Трубецкой, подойдя ближе, услышал эти слова, и его сердце забилося быстрее, ибо он понял, что момент настал. Лесток заметил его, и его лицо, мгновение назад торжествующее, исказилось усмешкой:

- А, князь! Что вы здесь делаете, мой друг? Следите за мной, как всегда? Я не боюсь вас, потому что за мной - воля императрицы, потому что я её доверенное лицо. Вы ничего не сможете мне сделать.

Трубецкой низко поклонился, сдерживая гнев, который поднимался в нём, и голос его был спокоен, хотя внутри всё дрожало:

- Граф, я просто ищу свою невесту, Марию Хованскую. Прошу прощения, если я побеспокоил вас, если я нарушил ваш разговор.

Он отошёл в сторону, и когда он оказался в безопасном месте, он достал свой дневник и записал дрожащей рукой: «Лесток взял золото при всех свидетелях. У нас есть доказательства, есть свидетели. Теперь - действовать».

Той же ночью, когда бал уже закончился, и гости разъехались по домам, Трубецкой и Бестужев встретились в церкви Спаса на Крови - в пустом, тёмном храме, освещённом только жёлтым, трепетным светом лампад, горевших перед иконами. Здесь, в этой тишине, где только их голоса и шелест свечей нарушали покой, никто не мог их подслушать.

- У нас есть доказательства, - сказал Бестужев, и голос его был тих, но твёрд. - Свидетели на балу, письма, мешок золота, который он взял. Завтра утром, с первыми лучами солнца, я иду к императрице, и я предъявлю ей всё.

Трубецкой сжал в своей руке нательный крест, который висел на его шее, и спросил, и голос его дрожал от волнения:

- А если она не поверит? Если Лесток убедит её, что это всё подделка? Что тогда?

- Тогда мы оба погибли, - спокойно ответил Бестужев, и в его голосе не было страха, только та глубокая, спокойная уверенность, которая даётся людям веры. - Но я верю, я верю всем сердцем, что правда восторжествует. Господь не оставляет тех, кто защищает веру и Отечество, тех, кто идёт путём правды.

Они встали на колени перед иконой Божией Матери, и прочитали «Отче наш» вместе, и их голоса, тихие и смиренные, сливались в один, и в этом единстве была вся их сила и вся их надежда. Затем они поднялись, перекрестились, и разошлись в разные стороны - каждый к своему жребию, к своей судьбе.

Следующее утро. Кабинет императрицы. Елизавета сидела в своём кресле, бледная и взволнованная, и её руки, униженные кольцами, дрожали. Бестужев стоял перед ней с тяжёлой папкой бумаг в руках, Лесток - рядом, с торжествующим видом, уверенный в своей победе.

- Ваше Величество, - начал Бестужев, и голос его был спокоен и твёрд, - я пришёл к вам не как обвинитель, а как слуга правды. Я пришёл, чтобы обличить предателя, который находится рядом с вами. Вот доказательства, неопровержимые доказательства того, что граф Лесток брал взятки от Фридриха, что он задерживал наступление нашей армии, что он продавал Россию за золото.

Он выложил на стол письма, показания свидетелей, подписанные и заверенные, и тот самый мешок с золотом, который Лесток получил на балу. Елизавета читала, и её лицо бледнело с каждой строчкой, с каждым новым доказательством, и наконец она подняла глаза на Лестока, и в этих глазах был не страх, а гнев и разочарование:

- Граф Лесток, что вы скажете в своё оправдание?

Лесток побледнел, ибо он понял, что попался, но он попытался оправдаться, попытался выкрутиться, и голос его был прерывистым:

- Это ложь, Ваше Величество, это провокация Бестужева! Он хочет очернить меня, он хочет уничтожить меня, потому что я знаю его тайны, потому что я слишком много знаю!

Но Елизавета уже не верила ему. Она видела его письма, она сравнила почерки, она увидела все доказательства, и она поняла, что он предал её. Она подняла свою руку, и в её голосе зазвенела та стальная, непоколебимая твёрдость, которая появлялась у неё в самые важные моменты её жизни:

- Достаточно, граф. Вы арестованы за измену, за государственную измену. Стража!

Лесток закричал, но стража уже взяла его под руки, и он, бледный и дрожащий, был выведен из кабинета. Он смотрел на Бестужева с ненавистью, и голос его был полон яда:

- Вы ещё пожалеете об этом, Бестужев! Я отомщу вам! Я уничтожу вас!

Бестужев перекрестился, глядя ему вслед, и в его глазах была та тихая, спокойная печаль, которая появляется у человека, когда он видит падение своего врага. Елизавета повернулась к нему и сказала, и голос её был тих и устал:

- Алексей Петрович, вы спасли Россию. Вы спасли меня от предателя.

- Это не я, Ваше Величество, - ответил Бестужев, и голос его был полон той смиренной веры, которая была его опорой всю жизнь. - Это Господь спас Россию. Я лишь орудие в Его руках, лишь тот, кто исполнил Его волю.

Он поклонился и вышел из кабинета, чувствуя, как усталость и облегчение одновременно наваливаются на него. Он знал - правда восторжествовала, и Россия была спасена от предателя, и это было главное.

Глава 11. Манифест императрицы

Петербург, Зимний дворец, раннее утро. В императорском кабинете было тихо, так тихо, что слышно было, как дрова потрескивают в камине, и как за высокими окнами, выходившими на Неву, ветер гонит сухой, колючий снег, залепляя стёкла белой пеленой. Только лампада, горевшая перед иконой Казанской Божией Матери, отбрасывала золотистые, трепетные блики на стены, обитые тёмно-малиновым бархатом, и на тяжёлые, шёлковые портьеры, которые были задернуты так плотно, что даже дневной свет не проникал в эту комнату. В кабинете пахло воском, ладаном и сухими травами, которые развешивали по углам для благоухания, и этот запах, смешанный с запахом старой бумаги и чернил, создавал ту особую, торжественную атмосферу, в которой решались судьбы государств. Елизавета стояла на коленях перед иконой, и её пальцы, унизанные кольцами, сжимали плотный лист бумаги - манифест, который она только что подписала, и который теперь должен был определить судьбу России на долгие годы. Она перечитывала его в последний раз, шевеля губами, и голос её, тихий и сдавленный, дрожал от волнения, ибо она знала, что эти слова, написанные на этой бумаге, отправят тысячи людей на смерть, разорят казну, изменят жизнь каждого человека в этой огромной стране.

Она смотрела на текст, и глаза её пробежали по строкам, которые она знала уже наизусть, но которые каждый раз, когда она их читала, звучали по-новому, наполняя её душу и страхом, и надеждой:

«Мы, Елизавета Петровна, Божией милостью императрица и самодержица всероссийская, обращаемся ко всем верным чадам Отечества нашего, ко всем, кто носит имя православного христианина, ко всем, кто чтит память предков своих и бережёт веру, завещанную нам святыми отцами. Враг веры нашей, король Прусский Фридрих, поднял оружие против нашей земли, оскверняя святыни наши и посягая на пределы государства Российского, гордыней своей возносясь превыше всех и дерзая называть себя просвещённым, тогда как душа его пуста и темна, ибо нет в ней страха Божия. Мы вступаем в войну не ради чужих амбиций, не ради захвата чужих земель, не ради корысти или славы, но ради защиты наших храмов, наших семей, нашей веры, которую передали нам отцы наши и которую мы должны передать детям нашим, как величайшее сокровище. Мы не ищем чужого, ибо чужое нам не надобно, но не отдадим своего, ибо своё есть наше кровное, наше родное, наше святое. Да благословит нас Господь на праведный подвиг, да будет воля Его, да укрепит Он нас в этот трудный час».

Она поднесла гусиное перо к бумаге, и рука её дрогнула, и на мгновение она замерла, глядя на те слова, которые должны были стать законом для миллионов, для всей этой огромной, многострадальной страны, которая простиралась от Балтийского моря до Тихого океана. Она помедлила, и в этой задержке была вся её борьба - между страхом и долгом, между желанием мира и необходимостью войны, между той слабой, испуганной женщиной, которая жила в её душе, и той императрицей, которой она должна была быть. Она вспомнила своего отца, Петра Великого, который тоже принимал такие решения, который тоже подписывал такие документы, и который никогда не колебался, ибо знал, что колебание - это слабость, а слабость - это гибель. Затем она поставила подпись - чёткую, размашистую, ту самую, которой она подписывала все важнейшие документы своего царствования. Перо скрипнуло, и чернила легли на бумагу ровной, уверенной линией, и в этом звуке было что-то окончательное, необратимое, как удар колокола, возвещающий начало новой эпохи.

Бестужев стоял рядом, и его лицо, обычно спокойное и непроницаемое, как маска, которую он носил на людях, сейчас было тронут тем волнением, которое он редко показывал даже самым близким людям. Его руки, сухие и старческие, слегка дрожали, и в глазах его, маленьких и пронизательных, блеснули слёзы, которые он не пытался скрыть. Он перекрестился, глядя на императрицу, и в его душе поднималась та глубокая, искренняя благодарность, которую он испытывал к этой женщине, которая, несмотря на все свои страхи и слабости, нашла в себе силы сделать этот шаг.

- Ваше Величество, - сказал он, и голос его был тих, но торжественен, как голос человека, который осознаёт величие момента, - этот манифест войдёт в историю России. Он станет символом нашей веры, нашей борьбы, нашей решимости. Люди будут читать его через сто лет, через двести лет, и они будут помнить, что была императрица, которая не побоялась встать на защиту своей земли, которая не побоялась назвать врага врагом и призвать народ на праведный бой. Это не просто документ, Ваше Величество, это завещание будущим поколениям.

Елизавета подняла на него глаза, и в них, влажных от слёз, была та глубокая, искренняя вера, которая была её опорой всю жизнь, которая помогала ей выдерживать все испытания и не сломаться под тяжестью короны. Её голос, когда она заговорила, был тих, но в нём чувствовалась та стальная твёрдость, которая появлялась у неё в самые важные моменты её жизни:

- Я не хочу входить в историю, Алексей Петрович, - сказала она, и каждое слово её было весомо и значительно. - Я хочу, чтобы Россия выжила, чтобы наши дети и внуки могли молиться под нашими берёзами, а не под чужими дубами. Чтобы вера наша, православная вера, не была попорана, чтобы наши храмы не были осквернены, чтобы наши иконы не были сожжены,

как сжигают их сейчас в Пруссии. Я хочу, чтобы мы победили, чтобы враг был посрамлён, чтобы мир воцарился на нашей земле.

Она перекрестилась на икону, приложилась к ней губами, затем повернулась к окну, раздвинула тяжёлые шёлковые портьеры и посмотрела на заснеженный Петербург, который просыпался под утренний звон колоколов. Золотые купола церквей, покрытые инеем, сверкали на солнце, отражая его лучи миллионами искр, и Елизавета чувствовала, как её страх, тот животный страх, который мучил её все эти месяцы, отступает, уступая место той глубокой, спокойной вере, которая была её главной силой. Манифест был подписан, и Россия вступала в войну, и она знала, что обратного пути нет.

Санкт-Петербург, Сенатская площадь, полдень того же дня. К полудню здесь собрались тысячи людей - купцы в дорогих, собольих шубах, с тяжёлыми золотыми цепями на шеях, ремесленники в простых, овчинных тулупах, с мозолистыми руками, дворяне в парадных мундирах, расшитых золотом, с орденами на груди, крестьяне, пришедшие из окрестных деревень, и даже нищие, которые, казалось, забыли о своей нужде, слушая гул голосов и звон колоколов. Площадь была запружена людьми так плотно, что нельзя было пройти, и все они, от мала до велика, смотрели на центр, где стоял священник в золотых ризах. Морозный воздух был наполнен паром от дыхания тысяч людей, и над площадью поднималось густое, белое облако, словно вся Россия, вся эта огромная, многострадальная земля дышала этим морозным воздухом, словно она сама, эта земля, собиралась с силами перед великой битвой. В центре площади стоял священник в золотых ризах, которые сверкали на солнце, отражая его лучи, и в руках он держал крест, украшенный драгоценными камнями, и свиток с манифестом, который только что был подписан императрицей. Он читал его громко, и голос его, усиленный морозным воздухом и тишиной огромной толпы, разносился над площадью, над куполами собора, над всем этим заснеженным городом, и каждое слово его падало в души людей, как семя, которое должно было прорасти и дать плоды:

- Братья и сёстры! Императрица наша, Елизавета Петровна, матушка наша, призвала нас на защиту земли Русской и веры православной! Враг стучится в наши ворота, враг жестокий и безбожный, который не верит в Бога и смеётся над нашими святынями, который считает нас варварами и дикарями, недостойными просвещения. Но мы - народ православный, мы сильны верой, и мы не отдадим врагу ни пяди нашей земли, ни одной слезинки наших матерей, ни одной молитвы наших детей! Кто готов идти за Родину? Кто готов защищать наши храмы, наши семьи, нашу веру?

Из толпы начали выходить мужчины - молодые и старые, дворяне и крестьяне, казаки и солдаты, ремесленники и купцы. Дворяне снимали свои дорогие шляпы, украшенные перьями, и целовали крест, который держал священник, крестьяне падали на колени прямо в снег, и их лица, обветренные и суровые, с глубокими морщинами, были полны той решимости, которая появляется у людей, когда они знают, что защищают самое дорогое, что есть у них в жизни. Женщины плакали, провожая мужей, братьев, сыновей, и слышен был голос старой женщины, которая стояла в толпе, прижимая к груди маленькую иконку, и причитала, и голос её был полон той безысходной, материнской тоски, которая понятна каждому:

- Сына моего единственного забирают, не видать мне его больше, не дожидаться мне его с этой проклятой войны, не увидеть мне его глаз, не поцеловать мне его рук...

Но рядом с ней стоял казак в походной форме, высокий и широкоплечий, с русыми усами и живыми, смелыми глазами, и он ответил ей, и голос его был спокоен и твёрд, как у человека, который много раз смотрел смерти в глаза:

- Матушка, не плачь, не убивайся. Мы вернёмся, мы обязательно вернёмся, с победой или с ранами, но вернёмся. Помолитесь за нас, и Господь сохранит нас от пули и сабли, и мы увидимся с вами, и будем жить в мире и покое.

Толпа, услышав эти слова, запела «Спаси, Господи, люди Твоя», и голоса, сначала робкие и тихие, потом всё более громкие и уверенные, сливались в единый мощный, величественный хор, который, казалось, поднимался к самому небу, к Богу, который взирал на них с небес, и этот хор, этот голос народа, был сильнее любого оружия. Колокола Казанского собора зазвонили в полную силу, и их звон, мощный и торжественный, разнёсся над площадью, над городом, над всей этой огромной, многострадальной землёй, и казалось, что этот звон слышат даже в самых далёких деревнях, в самых глухих лесах. Люди крестились, плакали, обнимались, но в каждом сердце, даже в самом испуганном, жила та глубокая, непоколебимая вера, что Россия выстоит, что Господь не оставит её в эту тяжёлую годину, что правда, наконец, восторжествует над ложью.

Дон, станица Берёзовская, тот же день. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы, старой, деревянной, с облупившимся куполом, на котором уже давно не было краски и который требовал починки, собрался весь хутор - мужчины, женщины, старики, дети, даже младенцы, которых принесли на руках. В церкви было тесно, и пахло ладаном, воском и тёплым дыханием десятков людей, которые стояли, тесно прижавшись друг к другу, плечом к плечу, как стояли их предки перед битвой, и слушали отца Алексия. Священник стоял перед алтарём, в своих лучших ризах, которые он надевал только по самым большим праздникам, держа в руках манифест, и читал его громко, чтобы все слышали, и голос его звенел, как натянутая струна, проникая в каждое сердце, в каждую душу, и каждое слово его было как удар колокола:

- Братья и сёстры, настал час. Настал тот час, о котором говорили наши предки, о котором предупреждали нас старцы. Враг идёт на нашу землю, враг сильный и жестокий, враг, который не знает жалости и не ведает страха Божия, но мы не должны бояться, ибо с нами Бог, ибо Он - наша защита и наше прибежище. Мы должны защитить нашу землю, нашу веру, наши семьи, наши дома. Господь призывает нас на подвиг, и мы должны ответить на этот призыв, мы должны встать плечом к плечу, как наши отцы и деды, и не отступить ни на шаг.

Старый Иван Берёзов стоял в первом ряду, опираясь на свой костыль, на тот самый костыль, который был памятью о турецкой сабле, чуть не отнявшей у него ногу много лет назад. Ему было уже далеко за семьдесят, и он знал, что не сможет воевать, не сможет держать саблю и скакать на коне, но его дух был крепче, чем у многих молодых, и его вера была глубже, чем у многих священников. Он подошёл к отцу Алексию, поцеловал крест, приложился к Евангелию, и его руки, сухие и дрожащие, но всё ещё сильные, сжимали старый, потёртый нательный крест, который принадлежал ещё его отцу. Затем он повернулся к толпе, и его голос, хриплый от прожитых лет, но всё ещё громкий и властный, прокатился над церковной площадью, над всей этой заснеженной станицей:

- Мои предки, Берёзовы, воевали с турками, с поляками, со шведами. Я сам воевал с турками под Очаковым, и Господь хранил меня, хотя я был молод и глуп. Теперь - немцы идут, эти безбожники, которые не верят в Христа и смеются над нашими святынями, которые сжигают наши иконы и оскверняют наши храмы. Но мы - казаки, мы не отдадим ни пяди нашей земли! Мы будем биться до последней капли крови, и Господь поможет нам, как помогал нашим отцам, как помогал нашим дедам!

Аксинья стояла в толпе, держа на руках младенца Ивана, который уже начал вертеть головой и тянуть свои маленькие, пухлые ручки к иконам, словно чувствуя ту благодать, которая исходила от них. Слезы текли по её щекам, но она улыбалась, глядя на деда, на его гордую, прямую фигуру, на его седые усы и горящие глаза, и в этой улыбке была вся её вера и вся её надежда. Отец Алексей подошёл к ней, кропил её и ребёнка святой водой, и его голос, тихий и ласковый, как у отца, успокаивал её:

- Бог даст, Емельян вернётся с победой, вернётся к тебе и к сыну, вернётся живым и здоровым. А ты расти его в вере, учи его молиться, учи его любить Бога и Россию. Он продолжит

род Берёзовых, и его дети, и внуки будут помнить, что их предки защищали свою землю, что они не отдали её врагу.

Аксинья прижала ребёнка к груди и прошептала, и голос её был тих, но полон той материнской силы, которая движет миром, которая сильнее любых армий:

- Господи, сохрани его, сохрани Емельяна, сохрани всех наших воинов. Не дай им погибнуть, не дай им пасть в этой страшной войне. Сохрани их для нас, для наших детей, для нашей земли.

Колокола церкви зазвонили в полную силу, провожая станичников на войну, и в этом звоне, и в этой молитве, и в этих слезах было то, что называлось верой, и эта вера была сильнее любого оружия, сильнее любой армии, сильнее любого врага.

Армия на границе Пруссии, весна тысяча семьсот пятьдесят седьмого года. Солдаты стояли на плацу, построенные в ровные, чёткие ряды, и их дыхание, белое и густое, поднималось над их головами, смешиваясь с утренним туманом. Перед ними, на импровизированном аналое, стоял священник с крестом, и его голос, усиленный ветром, разносился над лагерем, над лесом, над этой чужой, незнакомой землёй, которая должна была стать полем битвы. Емельян стоял в строю, сжимая в своей руке нательный крест Аксиньи, тот самый, старый, потемневший от времени, с выщербленными краями, который она дала ему перед отъездом, и слушал слова манифеста, которые читал священник. Рядом с ним Иван-хохол слушал, и его губы шевелились, повторяя слова, и в его глазах была та глубокая, народная мудрость, которая помогала ему понимать суть вещей, не задумываясь о сложных политических материях:

- «Не ищем чужого, но не отдадим своего...» Красиво сказано, Емеля, красиво и правильно. А по сути - воевать надо, воевать за свою землю, за свою веру. Не для царя, не для славы, не для награды - для себя, для детей, для внуков, для того, чтобы они жили в мире и покое.

Емельян кивнул, не отрывая взгляда от священника, и голос его, когда он заговорил, был серьёзен и спокоен, как у человека, который принял решение и не будет отступать:

- Мы воюем за свою землю, Иван. За наши семьи, за наши дома, за наши храмы. За то, чтобы наши дети могли молиться в своих церквях, а не под немецким сапогом, чтобы наши иконы не сжигали, как сжигают их там, в Пруссии. Мы воюем не из ненависти, мы воюем из любви - из любви к своей земле, к своей вере, к своему народу. И пока эта любовь живёт в наших сердцах, мы непобедимы.

После чтения манифеста начался молебен, и солдаты, как один, пали на колени в мокрую, весеннюю землю, крестились, кланялись, молились, и их голоса, тысячи голосов, сливались в один мощный, величественный хор, который поднимался к небу. Емельян чувствовал, как вера, та глубокая, искренняя вера, придаёт ему силы, делает его сильнее, чем любое оружие, сильнее, чем любая армия. Он не был один - с ним был Бог, был его род, была вся Россия, которая стояла за его спиной. Он слышал, как тысячи голосов повторяют молитву, и в этой музыке веры он чувствовал свою силу и свою правду, и он знал, что эта правда победит.

Рига, казарма, вечер того же дня. Коптилка, стоявшая на столе, горела неровно, разбрасывая жёлтые, трепетные блики по стенам, и дым от неё поднимался к потолку, смешиваясь с запахом пота, сырости и старого дерева. Емельян сидел на деревянных нарах, держа в руках Евангелие, которое привёз с собой из дома, и читал его вслух, тихо и спокойно, и голос его, ровный и уверенный, звучал в этом убогом, холодном помещении. Рядом с ним сидел Иван-хохол, слушая внимательно, иногда шевеля губами, повторяя слова, и в его глазах была та же вера, что и у всех, кто сидел в этой тесной казарме, и эта вера объединяла их в одно целое.

- «...Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», - прочитал Емельян, и голос его был тих, но в нём чувствовалась та глубокая уверенность, которая даётся людям веры, которые знают, что они идут правильным путём.

Иван почесал затылок, задумался на мгновение, потом сказал, и в голосе его было недоумение и одновременно то глубокое, народное понимание, которое не нуждается в словах:

- Странно, Емеля, странно. Мы идём на войну, на смерть, на кровь, а читаем о мире. Как это понять? Как это совместить в одной душе?

Емельян закрыл книгу, перекрестился и посмотрел на икону Божией Матери, ту самую, которую дала ему Акси́нья, и которая была с ним всё это время, и в его взгляде была та глубокая, спокойная вера, которая помогала ему не сломаться:

- Мы воюем за мир, Иван, - сказал он, и голос его был серьёзен и спокоен. - Мы воюем за то, чтобы мир наступил, чтобы он стал вечным, чтобы наши дети, наши внуки жили без страха, чтобы они не знали, что такое война, что такое смерть и кровь. Мы не хотим воевать, мы не хотим убивать, но если нужно защитить свою землю и свою веру - мы идём, мы не колеблемся, мы не отступаем. Мы воюем ради того, чтобы мир победил, чтобы добро победило зло, чтобы правда восторжествовала над ложью.

Он сжал в руке икону и прошептал, и голос его был полон любви и надежды, той надежды, которая помогает людям выживать в самые трудные моменты:

- Матерь Божия, заступница наша, защити нас, защити наших товарищей. Дай нам силы выстоять, не дай нам погибнуть, сохрани нас для наших семей, для наших детей. Укрепи нашу веру и дай нам победу.

Иван тоже перекрестился широко, размашисто, как это делали его деды, и оба замолчали, слушая, как за окном завывает весенний ветер, как где-то вдалеке слышны голоса офицеров, отдающих приказы. Война была близко, но вера, та глубокая, искренняя вера, давала им спокойствие и силу, и они знали, что, что бы ни случилось, они не будут одни.

Петербург, Зимний дворец, ночь. В императорском кабинете горела только одна свеча, и её жёлтый, трепетный свет отражался в золотом окладе иконы Казанской Божией Матери, делая лик Богородицы живым и тёплым, словно она сама смотрела на императрицу с любовью и состраданием. Елизавета стояла на коленях перед иконой, и её губы, сухие и бледные, шевелились в беззвучной молитве, и в этом беззвучии было больше веры, чем в самых громких словах. За окнами выла метель, и снег, крупный и колючий, бил в стёкла, залепляя их белой пеленой, но внутри её души было тихо и спокойно, ибо она знала, что сделала всё, что могла, что она не отступила перед лицом опасности.

- Господи, - шептала она, и голос её был тих, но полон той искренней, глубокой веры, которая была её опорой всю жизнь, которая помогала ей не сломаться под тяжестью короны, - я сделала всё, что могла. Я подписала манифест, я обличила предателей, я призвала народ на защиту нашей земли. Теперь - Твоя воля, Господи, Твоя святая воля. Защити Россию, защити наших воинов, защити веру православную. Сохрани нас в этот трудный час, не дай нам сгинуть, не дай нам пасть, не дай врагу одолеть нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.